

Иудаки
из
шестого „Б“



Издательство "Детская литература"

Евгений
в день
рождения
от Урва Б.

15/III - 402.

МКОЛБНА

8

M.



Школьная библиотека

В. ЖЕЛЕЗНИКОВ

**ЧУДАК
из шестого „Б“**

ПОВЕСТИ

Рисунки
Н. ЦЕЙТЛИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО

**„ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА“**

Москва

1970

СОДЕРЖАНИЕ

Чудак из шестого «Б»	3
Путешественник с багажом	61
Каждый мечтает о собаке	144

Для восьмилетней школы

Железников Владимир Карпович

ЧУДАК ИЗ ШЕСТОГО «Б»

Повести

Ответственный редактор *И. В. Пахомова*.
Художественный редактор *М. Д. Суховцева*.
Технический редактор *В. К. Егорова*.

Корректоры *З. С. Ульянова* и *Е. И. Щербакова*.

Сдано в набор 3/XII 1969 г. Подписано к печати 4/II 1970 г. Формат 60×84¹/₁₆. 17 печ. л. 15,86 усл. печ. л. (12,92 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 экз. ТП 1970 № 279.

Цена 49 коп. на бум. № 2.

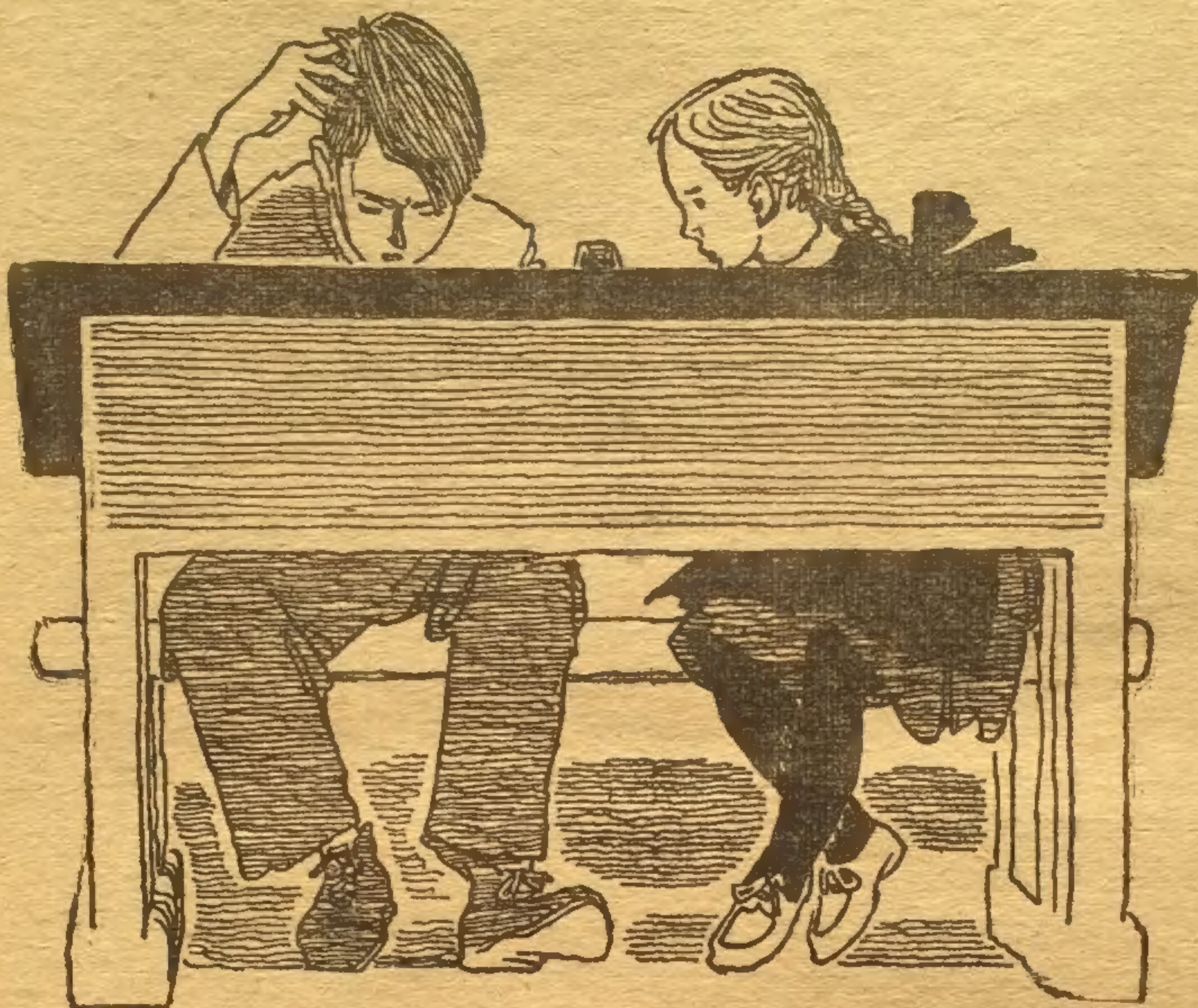
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва. Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Суше-ский вал, 49. Заказ № 5102.

В этой книге собраны три повести: «Чудак из шестого «Б», «Каждый мечтает о собаке» и «Путешественник с багажом». Герои этих повестей — чудак Борис Збандуто, паренек со странным прозвищем Сократик, путешественник Севка Щеглов. Они прелюбопытные ребята, и на их долю выпали многочисленные необыкновенные приключения.

Естественно, они никогда не были знакомы, но если бы встретились, то обязательно подружились. Почему? Да потому, что они все трое славные, милые, добрые, храбрые люди. Впрочем, прочитав книгу, вы поймете это прекрасно сами.

Меня н
рятам.
Когда
этом, все на
— Дона
— Банд
— Фанд
ва! — крикн



ЧУДАК ИЗ ШЕСТОГО «Б»

Меня назначили вожатым во второй класс «А», к октяб-
рятам.

Когда на сборе отряда вожатая Наташа заговорила об
этом, все начали смеяться.

- Донато! Ха-ха-ха! Он научит их получать двойки.
- Бандито! Плакали деревья в школьном переулке.
- Фандуто! Он сделает из них Тартаренов из Тараско-
на! — крикнул мой друг Сашка Смолин.

Сашка гордился, что много читал, и в разговор вставлял литературные имена.

Сначала я смеялся вместе со всеми. Дело в том, что у меня очень сложная фамилия: Збандуто. Когда я впервые пришел в эту школу, то учительница переврала мою фамилию. Она назвала меня не Збандуто, а Надувато.

С тех пор в нашем классе каждый считал своим долгом как-нибудь переделать мою фамилию. Я не обижался и даже иногда в этом участвовал сам.

Но сегодня я прислушался к выкрикам ребят и понял, что они не очень-то хорошо обо мне думают.

Наконец Наташа сказала:

— Ну, хватит, посмеялись, и хватит. Согласен, Збандуто?

Тогда я встал, посмотрел лениво на ребят, помолчал минуту для солидности и ответил:

— Согласен.

— Мы знаем твои слабости,— сказала Наташа.— Но доверяем. А ты должен оправдать это доверие.

— Можете на меня положиться.

После сбора ко мне подошел Сашка Смолин. Я начал судорожно размахивать руками, смеяться, закатывать глаза и раскачивать головой. В общем, изобразил религиозный, фантастический восточный танец. Пляску смерти или жертвоприношения.

— Что с тобой? — удивился Сашка.

— Что? — Я с возмущением посмотрел на него.— Изображаю, как ты смеялся, когда Наташа предложила меня в вожатые. Я даже испугался, что от смеха у тебя начнется припадок. Позавидовал?

— Уважаемый Надувато, я не завидую, потому что нет в мире более скучного занятия, чем возиться с второклашками. Привет!

Я пришел домой и рассказал все маме.

— Вожатым? Тебя? — удивилась мама.— Ну что ж,

Бока, я очень рада. Теперь ты должен показывать пример другим.

— Только не зови меня больше Бокой. Я уже не маленький.

— Хорошо, если не хочешь, не буду.— Она поцеловала меня — я терпеливо выдержал это проявление нежности, — но все же предупредила: — Не думай, что тебе будет легко.

— Конечно, трудности у меня теперь будут, — ответил я.

Потом я побежал мыть руки в ванную и на обратном пути столкнулся с Ольгой Андреевной, нашей соседкой.

Она пенсионерка и живет одна. А сын ее уехал работать в Сибирь.

— Ольга Андреевна! — закричал я. — У меня хорошая новость.

— Тише, тише. Что-нибудь новое о Сибири?

Ольга Андреевна интересовалась только Сибирью, хотя знала про нее все. Про редкие полезные ископаемые, вроде якутских алмазов. Про гидроэлектростанции, которые строят на сибирских реках. Ну прямо все про Сибирь знала и без конца об этом говорила. Она помнила даже, какая рыба водится в сибирских реках — всякие там хариусы, нельмы и омули из породы лососевых.

А мне это было на руку.

У нас с Сашкой был спор, кто больше о Сибири узнает. Понятно, что в этом деле Ольга Андреевна была незаменима.

— Нет, не про Сибирь, — ответил я. — Меня назначили вожатым к октябрятам.

Ольга Андреевна скептически поджала губы:

— Право, не знаю, Бока, чему ты их научишь. Ты ведь сам не знаешь, что сделаешь в следующий момент. Настоящая загадка природы. Тунгусский метеорит.

У меня в голове как щелкнет: «О Сибири!» А я забыл об этом метеорите. Просто странно, почему я забыл. Ну, теперь Сашка у меня попляшет!

Я уже хотел убежать от Ольги Андреевны, да вспомнил, что мы не закончили разговор. Это моя слабость — говорю об одном, а потом увлекаюсь другим и забываю, о чем говорил вначале. А тут я вспомнил и сказал:

— Я решил исправиться.

— Ты уже много раз решал, — сказала Ольга Андреевна, — а воз и ныне там.

Это было не про Сибирь. Не повезло. Я знал, что слова «а воз ■ ныне там» из какой-то басни Крылова, и хотел ответить Ольге Андреевне тоже отрывком из басни. Это всегда производит впечатление. Но ничего не вспомнил. Пришлось обойтись обыкновенными словами.

— Я окончательно решил, — сказал я.

— Ладно, иди. А то у тебя с рук капает вода и портит паркет.

Какой-то паркет, когда такие важные вопросы! Я крикнул в спину Ольге Андреевне:

— Не называйте меня больше Бокой!

После обеда я сел за уроки, а мама ушла на работу.

Тут появился Сашка и стал разговаривать со мной как ни в чем не бывало. Про то да про это. Про погоду, про футбол. В общем, делал вид, что мы не ругались.

А я ему:

— Тунгусский метеорит. Тофалары. Город Дивногорск.

А он:

— Чего, чего? — притворился, что не понял, о чем я веду разговор.

— В тысяча девятьсот восьмом году в тунгусской тайге упал метеорит. Его тайна до сих пор не раскрыта. При падении он повалил сотни деревьев. Раз. Тофалары — маленькая народность в Сибири. Их осталось около тысячи человек. До революции они погибали с голоду и были все безграмотные. Два. Дивногорск — город на Енисее, у первой плотины на этой реке. Три. Запомни: три — ноль в мою пользу.

Сашка сильно расстроился. Такой проигрыш! Чтобы не показать виду, он сказал:

— Завтра уроки чепуховые. Пошли играть в футбол.

После того, что произошло, я никак не мог отказать Сашке. Это было бы просто издевательством над человеком. Я сложил учебники обратно в портфель, и мы побежали играть в футбол.

* * *

Через несколько дней, когда я и все ребята уже забыли, что меня назначили вожатым, в нашем классе появились две маленькие девочки.

Все, конечно, тотчас же уставились на них. Это была редкость, чтобы младшие пришли к нам сами.

Одна из них сказала:

— Нам нужен Боря З...— Она покраснела, не могла выговорить мою фамилию.

А вторая ей помогла:

— Здандуто.

Все только этого и ждали и сразу засмеялись. А я небрежно заметил:

— Ничего смешного.— Я догадался, что это девочки из второго «А», то есть мои октябрюта, и стал незаметно вытеснять их из класса.

Но они опередили меня.

— Мы из второго «А»,— выпалили два голоса.— Вы наш вожатый, и мы вас ждем.

— Ладно. Сегодня после уроков приду.

В этот самый момент в класс влетела Наташа. Она всегда появлялась в неподходящее время. Все дни даже носа не показывала, а тут явилась и сразу налетела на меня:

— Ты не можешь себе представить, чего им стоило прийти к вам в класс. Они маленькие, а уже тянутся к общественной жизни. А ты...— Наташа замолчала. Она хотела, вид-

но, чтобы я понял, какой я никудышный человек.— Подумай, о чем ты будешь говорить с ними. Нужна какая-то находка для первого раза.

На уроках я думал об октябрятах.

Сначала решил: войду к ним деловым шагом и скажу: «Здравствуйте, октябрята!» Потом у меня мелькнула мысль, что для первого знакомства необходимо произнести речь. Это уже была «находка», как говорила Наташа.

Я взял бумагу и написал: «Дорогие октябрята! Пионерская организация прислала меня к вам, нашим младшим любимым товарищам, чтобы я закалил вас и подготовил нам достойную, славную смену. А сейчас мы составим план работы и будем его выполнять».

Я несколько раз перечитал свою речь, она показалась мне блестящей. Правда, в ней все-таки мало было мужества. Перечитал ее еще раз и в трех местах вставил слово «мужество».

Теперь речь выглядела так:

«Дорогие октябрята! Пионерская организация, известная своим мужеством, прислала, меня к вам, нашим любимым младшим товарищам, чтобы я закалил вас и подготовил нам достойную, славную, мужественную смену. А сейчас мы составим план работы и будем вместе мужественно его выполнять».

Потом я попытался выучить речь на память, но у меня ничего не вышло. Тогда я решил прочитать ее. «Не страшно,— подумал я.— Министры тоже читают свои речи по бумажке».

После уроков я медленно спускался на первый этаж. Ребята неслись по лестнице со скоростью антилоп гну; один ■ не спешил.

— Борька, быстрее, что ты тянешься, как столетняя черепаха! — закричал Сашка.— Погодка мировая!

Я махнул рукой:

— Не могу, должен остаться в школе.

— А что случилось? — удивился Сашка. — В училку вызывают?

— Нет. Обещал зайти к второклашкам.

— Обещанного три года ждут.

Мне очень хотелось уйти, но я все же ответил:

— Неудобно, обещал. — Думал, Сашка начнет меня уговаривать хотя бы отложить октябрятский сбор, а он убежал.

Тоже товарищ! Не смог меня уговорить. Мог, наконец, увести меня силой. Схватил бы за руку и потащил. Может быть, я не стал бы сопротивляться?..

Я остановился у дверей второго «А». Не так-то легко было войти к этим второклашкам. Отошел к окну, облокотился на подоконник и сделал вид, что глубоко задумался.

А на улице светило солнце, стояли последние погожие деньки.

В коридор выглянула одна из тех двух девочек, которые приходили за мной, и закричала пронзительным голосом:

— Ребята, Боря пришел!

В ту же секунду весь класс высыпал из дверей.

Их было человек двадцать пять.

Они толкали друг друга и смотрели на меня, как на дикого зверя в зоопарке.

Я криво улыбнулся и сказал:

— Давайте пойдем в класс. Там мы будем в своей тарелке.

— Пошли в свою тарелку, — подхватил какой-то малыш.

В классе ребята сели за парты, а я дрожащими пальцами вынул из кармана бумажку с речью, разгладил ее на учительском столе и стал читать.

Да, печальная это была история. Язык у меня сразу одеревенел, и я спотыкался на каждом слове. Можно сказать, я брал эти слова приступом, а потом перешел на шепот. Отшептал и замолчал. Неловко было поднять глаза на малышей.

«Не каждый может произносить такие речи, — решил я. — И мне бы лучше не соваться в это дело. Все равно из

меня вожатого не выйдет. Вот Наташа — та говорит, как ходит. Иногда даже непонятно о чем, а гладко, громко, четко».

Ребята по-прежнему смотрели на меня, как на дикого зверя.

Теперь-то у них для этого были все основания. Они, видно, первый раз в жизни слушали такую речь.

— Ну, познакомимся, — выдавил я. — Пусть каждый из вас назовет свое имя. По фамилии скучно друг друга называть.

И затрещали голоса: Нина, Зина, Толя, Лена, Гога, Лена, Сима, Сима, опять Лена ■ Серафима.

Сначала я старался запомнить имена и лица ребят, а потом перестал.

У меня от их лиц голова кругом пошла. Они были ужасно одинаковые. Все в формах. Все с белыми воротничками. Девочки с косами. Мальчишки с челками. Да еще одно имя на двоих или троих.

Ребята продолжали по очереди вставать и произносить свои имена, а я кивал головой и думал, как бы мне быстрее отсюда уйти.

Домой я пришел расстроенный и даже не смог обедать. «Так недолго и заболеть, — подумал я. — Да пропади они пропадом, эти малыши!»

Сколько сегодня я из-за них потерял?

Мог поиграть в футбол. Не поиграл. Мог пойти в кино. Не пошел. Мама приготовила на обед мои любимые блинчики с вареньем. Аппетита нет!

Правда, блинчики я все же съел и, надо сказать, успокоился.

* * *

Теперь я пролетал первый этаж только на больших скоростях. Эти второклашки, в лучшем случае, могли любоваться моей спиной. Но некоторые из них оказались на редкость настойчивыми.

Однажды выхожу я на перемене в свой коридор и вижу: стоит одна из тех самых девочек, которые приходили за мной в первый раз.

Ее звали Нина.

— Боря, — сказала она, — мне плохо дается арифметика.

— Ну и что?

— Может быть, ты позанимаешься со мной после уроков?

Я молчал. Растерялся. Только этого не хватало: тут сам еле-еле заставляешь себя сделать уроки, а она — помоги ей с арифметикой. Да еще после уроков! Нет, это уже слишком.

Я, конечно, был готов ко всяким неожиданностям и трудностям. Но не к таким. На это я не согласен.

У Нины покраснели уши и даже задрожали кончики тоненьких, коротких косичек.

Стало ее жалко — всегда меня подводила жалость. Когда тебе кого-нибудь жалко, нужно перетерпеть. А я никогда не мог перетерпеть. Я тут же взял и ляпнул:

— Ладно. Жди сегодня.

Совсем выскочило из головы, что после уроков у нас должен был состояться футбольный матч на первенство sixth классов. А я играл в нашей команде в защите.

— Ты что? — заорал Сашка. — Ты соображаешь, что говоришь? Это пахнет предательством.

— Я занят, — упрямо ответил я.

Не мог же я им признаться, что у меня за дело. Они бы просто подняли меня на смех.

— Интересно полюбопытствовать, куда он спешит? Министр без портфеля какой нашелся!..

Вся наша футбольная команда с напряженным вниманием следила за разговором, а я в это время ругал про себя Нину: «Сидит там какая-то пигалица, арифметический эксплуататор, и я из-за нее не могу поиграть в футбол с друзьями. Должен их подводить». Я уже давно заметил:

если виноват в чем-нибудь сам, ругай другого — сразу станет легче. И тут мне сразу тоже стало легче, и я сказал:

— Пошли, придется отложить мое дельце.

Во время игры я все время думал о Нине. Засела она мне в голову. Гонял мяч поэтому без всякого удовольствия.

Через час, когда счет стал 15 : 10 в нашу пользу, я решил уйти.

— Ну, хватит, — сказал я. — Мне пора.

Ребята из другого класса закричали, что это нечестно. Всегда мы играем до двадцати, а тут до пятнадцати, и, может быть, они еще отыграются.

— Нет, я ухожу. Вы как хотите, а мне надо.

Я так на них разозлился, что готов был рассказать про Нину. Человек ждет, а они будут гонять мяч до темноты. Может быть, их тоже ждут, но они не обращают внимания. А я сегодня волновался, что меня ждут.

— Мы и без тебя сыграем, — сказал Сашка. — Катись, скатертью дорожка, а то еще опоздаешь к обеду.

Больше всего я боялся, что Нина не дождалась и ушла. Но она была в классе, сидела за первой партой. Когда я влетел, она встала.

Класс был большой, окна громадные, потолки высокие, а она такая маленькая! Днем, когда в классе полно ребят и кругом шум и разговоры, этого не замечаешь. А сейчас она была удивительно маленькая. Ну прямо девочка из детского сада.

— Задержался. У нас сегодня важная игра, — сказал я.

— Понятно, — ответила Нина.

Я-то был уверен, что в футболе она ничего не понимает.

— Ну, показывай твои примеры, — сказал я.

Нина подала мне задачник. Там были какие-то дурацкие примеры. Цифры, потом три точки, снова цифры и три точки, и снова цифры. А в конце примера знак равенства и ответ. В условии требовалось вместо точек поставить знаки действий.

— Это сушая ерунда, — сказал я, ■ сам стал соображать, какие там еще знаки надо ставить.

— Умножение проходили? — спросил я.

— Проходили, — ответила Нина.

— И деление проходили?

— Проходили.

«Нечего сказать, нагружают маленьких, — подумал я. — Мало им сложения и вычитания. Нет, надо еще задать умножение и деление».

Долго думать было неудобно, а Нина смотрела мне прямо в рот. Точно я какой-то арифметический волшебник или счетная кибернетическая машина и у меня тут же начнут выскакивать изо рта готовые решения.

Молча взял ручку, листок бумаги и стал переписывать этот несчастный пример. Видно, я здорово волновался, что-то перепутал, с ответом у меня не сошлось.

Посмотрел на Нину: заметила ли она, что я ошибся?

Нина тяжело вздохнула и сказала:

— Вот и я так: решаю быстро, а с ответом не сходится.

Я кисло улыбнулся и ничего не ответил. Другой на моем месте стал бы выкручиваться, что он пошутил. А я не умел выкручиваться — это была моя слабость.

Пришлось повозиться с этими примерами больше часа. Оказалось, пустяковые примеры. И Нина в конце концов тоже научилась их решать.

Меня просто распирало от гордости. Это был первый благородный поступок в моей жизни, и я готов был решать эти примеры до ночи.

— Если будут еще какие-нибудь осложнения с арифметикой, приходи.

Зачем я предложил ей свою помощь, даже не знаю. Решил, что не буду вожатым, а теперь сам навязался.

— Хорошо, — ответила Нина.

Пора было уходить, но я почему-то тянул время. Я вспоминал ребят из второго «А», и, честно говоря, мне стало

жаль с ними расставаться. Сам бегал от них, а теперь вдруг пожалел.

И тут мне пришла в голову блестящая идея. Переписать в тетрадь фамилии малышей, а потом отвести их в ГУМ и сфотографировать в моментальной автоматической фотографии. А фото наклеить в эту тетрадь.

По-моему, это была действительно идея: малышам радость и новому водителю, который придет вместо меня, помощь. Открыл тетрадь — фотографии, а под ними фамилии: не перепутаешь никого.

Я вытащил из портфеля чистую тетрадь и под Нинину диктовку переписал фамилии ребят.

Домой мы возвращались вместе. Всю дорогу разговаривали. Нина рассказывала про себя.

— Мы живем вчетвером: папа, мама, бабушка и я. Папа и мама врачи, а бабушка пенсионерка... А ты с кем живешь? — спросила Нина.

— Тоже с папой и мамой. Только без бабушки. Папа сейчас уехал в командировку в Свердловск. Он оттуда привезет для своего завода скоростные станки. А пенсионерка у нас тоже есть — Ольга Андреевна, наша соседка.

— Пенсионерка! — обрадовалась Нина и засмеялась.

Почему ей было смешно, я не понял. Не всегда ведь так сразу поймешь этих маленьких.

— Все пенсионерки смешные, — сказала она. — В тот день, когда им разносят пенсию, они не выходят на улицу, боятся прозевать почтальона.

Я тоже засмеялся. Вспомнил, что Ольга Андреевна в день пенсии никогда не выходит из дому.

— А наша соседка всех расспрашивает о Сибири, у нее там сын.

Мне было легко разговаривать с Ниной. Она как мальчишка: о чем хочешь с ней, о том и болтай. Ей все интересно, это я сразу почувствовал. Есть девочки, которые интере-

суются косынками да шарфиками, а Нине все было интересно.

— Я тоже, когда вырасту, поеду в Сибирь,— сказал я.

— Говорят, там такие степи, что за целую неделю можно ни одного человека не встретить.

— Ну и что?

— Ничего,— ответила Нина.— Но, говорят, там по степям рыщут голодные волки и нападают на овец.

— Ну и что? — сказал я.— Этих волков охотники расстреливают прямо с самолетов. От самолета далеко не убежишь.

На прощание Нина сказала:

— Приходи к нам в класс почаще.

— Хорошо,— ответил я.

У подъезда меня поджидал Сашка.

— Ты чего стоишь? — спросил я.— Пошли ко мне.

— Не собираюсь к тебе заходить. Мне у тебя нечего делать. Просто я хотел посмотреть на твою нахальную физиономию.

Сашка был мокрый и злой, как пес, который два часа бегал за кошкой и не поймал ее. Я сразу догадался, что наши проиграли. Сашка был такой усталый, что мог заплакать от обиды.

Глупо, конечно. И со стороны может показаться смешным. Подумаешь — проиграли в футбол. Но я-то знал, что проигрыш для Сашки большое несчастье.

— Да брось ты переживать! Мы еще разделаем их под орех.

— Воспитатель,— ехидно произнес Сашка.

Значит, он все же видел меня с Ниной. Я промолчал: не сообразил сразу, что ему ответить. А Сашка повернулся и пошел. Ленивой походочкой, помахивая портфелем.

«Это он уже зря,— подумал я.— Смеется. Когда от злости над другим смеются — это всегда зря».

На следующий день на перемене пришла Наташа.

Я хотел улизнуть, но она окликнула меня:

— Боря, как октябрята?

Вокруг нас собрались ребята. И особенно много было девочек. Ужасно до чего они любили сюсюкать: «Наташенька, Наташенька, какой у тебя симпатичный воротничок!» или «Какой у тебя симпатичный значок!»

Не хотелось при них разговаривать, но другого выхода не было.

— Подтянул одну девочку по арифметике, — сказал я.

Тут откуда-то вынырнул Сашка и закричал:

— Ура! Придуманто воспитал нового математика. Это сенсация!

Так мою фамилию еще никто не переделывал. Я засмеялся вместе со всеми, думал, убью сразу двух зайцев: помирюсь с Сашкой и отделаюсь от Наташи. Но она строго сказала:

— Это частности. А ты глубже смотри на вопрос. Вовлекай весь коллектив в общественную работу.

Ох, какая меня охватила скука, когда она сказала эти слова!

— Кое-что задумал. — Я протянул ей тетрадь с фамилиями октябрят.

Она полистала ее, а все остальные вытянули шеи, чтобы заглянуть, что там такое. Шеи у них стали прямо как у жирафов.

— В чем дело? — спросила Наташа. — Ничего не понимаю.

— Мы пойдем в ГУМ, там ребята сфотографируются в моментальной фотографии. А я наклею эти снимки в тетрадь.

— А зачем? — еще больше удивилась Наташа.

— Фотография автоматическая. Работает без фотографа.

— По-моему, ты пошел не по тому пути. Какие-то фотографии...

Все захихикали.

Я разозлился. Она, конечно, не поняла, что малышам интересно сфотографироваться в моментальной автоматической фотографии.

— Ну, потом будем записывать в эту тетрадь про свои дела, — выдавил я.

Скучно мне было. Даже расхотелось идти к октябрятам.

— Это все не имеет отношения к работе вожатого, но для начала сойдет. — Наташа посмотрела на ребят. — Вожатый — это кто? Воспитатель и политический руководитель своих младших товарищей. А ты, Збандуто, еще не понял этого.

— А что же имеет отношение к работе вожатого? — разозлился я.

— Ну, организуй танцевальный кружок. Разучи, например, танец гопака.

— У него нет никакой склонности к пластике! — снова крикнул Сашка.

Я думал, он убежал, а он еще околачивался тут.

— Я позову Смолина, — ответил я. — Он у нас знаменитый учитель танцев.

* * *

И все же я повел ребят в ГУМ. И не зря. Автоматическая фотография — великолепная вещь. Зайдешь, сядешь в кабину и можешь корчить любые рожи — фотографа ведь нет. Потом получай сразу девять фотокарточек. Три — с левого профиля, три — с правого, три — анфасные.

О том, что можно корчить рожицы, я, конечно, никому не говорил. Но Толя Костиков сам догадался и другим рассказал.

Что это было за веселье! Толя Костиков сфотографировался с оскаленными зубами. Гена Симагин к подбородку

прилепил обрывок газеты. А Гога Бунятов — тот высунул язык. Все хохотали и никак не могли остановиться.

Взрослые на нас оглядывались и, может быть, даже возмущались. Но я-то уж знал: если смешно, тут ни за что не остановишься. Тогда нужно придумать что-нибудь особенное, и я сказал:

— Сейчас пойдем есть мороженое. Из стаканчиков.

— Ура! Ура! — закричали все.

— А мне мороженого нельзя, — сказал Толя Костиков. — Я болел недавно ангиной.

— Жаль, — ответил я; Толя Костиков сразу скис. — Ну что же, полная солидарность. Мороженое есть не будем. Купим пирожки с повидлом.

— Полная солидарность, полная солидарность! — обрадовался Костиков. — Это я понимаю.

Когда стали покупать пирожки, я увидел, что Гена Симагин отошел в сторону и уставился на витрину с коврами. Точно его с самого рождения интересовали только ковры и всякие там узоры на них.

Ясно: у него не было денег на пирожок. А у меня в кармане лежали три новеньких рубля, которые мне оставил папа. Я должен был на них купить маме подарок ко дню рождения.

Пришлось вытащить один из этих новеньких рублей и купить пирожок Гене Симагину.

Мне ничуть не было жалко денег. Все уплетают за обе щеки пирожки, а один малыш рассматривает в это время какие-то пыльные ковры. Кем надо быть, чтобы такое терпеть? Но я все же вздохнул, потому что прекрасно знал — стоит разменять рубль, и он весь разойдется.

Я подозвал Нину и дал ей пирожок для Гены. Не знаю, что она ему там говорила, но они очень быстро после этого отошли от витрины.

Вечером я расклеил фотографии малышкой в тетрадь. И она стала как живая. Интересно было ее перелистывать.

Смешные рожицы у этих малышей. Потом я принялся за уроки. Поучу, поучу и снова полистаю тетрадь с фотографиями.

Захотелось мне придумать для малышей что-нибудь особенное, какое-нибудь тимуровское дело. Думал, думал. Ничего не придумал. Пошел посоветоваться к Ольге Андреевне.

Она сидела в кресле и читала старые письма. Она часто читала эти письма. Это были письма ее мужа к ней, когда они были молодые.

Я ей рассказал о своих делах.

Ольга Андреевна сняла пенсне. Она носила старомодное пенсне на черном плетеном шелковом шнуре. Пенсне часто соскакивало у нее с носа, но она упорно не желала с ним расставаться. Это пенсне подарил ей муж. В общем, у нее в жизни было два «ангела»: ее муж и ее сын.

— Организуй хоровой кружок. Хорошо, когда люди поют. А у детей очень звонкие, чистые голоса. Я даже сама могу с ними позаниматься.

Дело в том, что у Ольги Андреевны был редкий голос — контральто. Но ее отец, отсталый человек, не разрешил ей учиться в консерватории.

Мне не хотелось огорчать Ольгу Андреевну, но, по-моему, в пении тоже ничего тимуровского не было.

— Главное не в том, что ты придумаешь, — снова заговорила Ольга Андреевна. — Главное, чтобы твои октябрята росли добрыми, честными людьми.

Я вернулся к себе и снова начал думать. Ничего не придумывалось.

«Ладно, — решил я. — Буду пока их закалять физически. А там разберемся».

В первое же воскресенье я повел весь класс в бассейн. В этом бассейне был детский кружок по плаванию.

Плавание я выбрал не случайно. Во-первых, этим видом спорта можно заниматься с детства, а во-вторых, всем известно, что с плаванием у нас в стране далеко не все в по-

рядке. В Риме на Олимпийских играх мы получили уйму медалей, а по плаванию — ни одной.

Вот почему я решил записать своих малышей в плавательный кружок. Кто знает, может быть, из них вырастут рекордсмены страны или даже мира. Это было бы, конечно, здорово.

Но не так-то все оказалось просто. Сначала нас не хотели пускать в бассейн. Там у них всё по расписанию и по пропускам.

Малыши притихли, как мыши.

А я долго спорил и кричал, что я вожатый, и что мы всем классом, и что мы не позволим срывать общественное мероприятие.

Наконец появился какой-то длинный мужчина в синем спортивном костюме и велел нас пропустить. Он нас провел в зал и приказал:

— Раздеться и выстроиться по росту!

Все, конечно, запищали и захихикали.

Тогда он сказал:

— Быстро. У меня нет времени.

Пришлось мне раздеться. Надо было показать пример, а то еще этот длинный разозлится и выгонит нас. Остался только в трусиках и майке.

— Майку тоже снять, — приказал длинный.

Следом за мной стали раздеваться ребята. Они стеснялись, конечно, но длинному их ни капельки не было жалко.

Когда я посмотрел на них, мне вдруг стало смешно. Они были смешно одеты. Мальчишки еще ничего. Мальчишки в черных трусах. А девочки были в цветных: голубых, розовых, желтых. Они сбились в стайку и что-то там чирикали. Настоящие страусята — худенькие, тоненькие. Ноги длинющие, спичками. Как они на них ходят, непонятно.

Построились по росту. Я первый.

— Выходи из строя, — сказал длинный. — Староват для плавания.

Я чуть не упал от неожиданности. Сказать такое! Я уже хотел поговорить с ним более резко, но он повернулся ко мне и снова добавил:

— И грудная клетка узковата. — Он больно щелкнул меня пальцем по ключице.

У меня была куриная грудь. Это было мое несчастье. Но спортом-то я занимался. Еле-еле сдержался. Не хотелось заноситься при ребятах.

А тренер продолжал осмотр. Он измерял ребятам грудные клетки и, если они при этом хихикали от щекотки, свирепо смотрел на них. Ощупывал ноги и руки. А потом подвел к аппарату, которым измеряют объем легких. Для пловца большой объем легких — первое дело.

— Ну вот что, из всей вашей компании, — сказал тренер, — могу взять эту девочку. — Он показал на Зину Босину.

— Почему? — спросил я.

— «Почему, почему»! Это мне судить. — Он повернулся к Зине: — Придешь на занятия в следующее воскресенье. Принесешь мыло, полотенце и купальный костюм.

— Да, — сказал я. — Неважно у вас поставлено дело.

— Почему — неважно? — спросил длинный.

Раньше он вроде меня и не замечал, а теперь-то заметил и сделал шаг в мою сторону.

— В Риме проиграли на Олимпийских, а когда к вам приходят новенькие, так вы от ворот поворот.

Мальши быстро задвигались, собирая свои вещи. Они явно торопились уйти.

Но длинный ничего мне не ответил. А что скажешь, когда это чистейшая правда.

* * *

Теперь второклашки прибегали ко мне каждую перемену, а после уроков поджидали меня и провожали домой. Сашка прямо не знал, что ему делать.

— Долго ты будешь возиться с ними? — спросил он.
— Весь год. А потом на следующий год снова.
— В общем, до самой смерти?
— Не до смерти, а пока не закончу школу.
— Значит, конец нашей многолетней дружбе?
— Почему — конец? Они тебе не мешают. Они знаешь какие хорошие!

— Я сегодня подслушал, как твой Костиков говорил про тебя, — сказал Сашка. — Будто ты самый сильный среди нас и круглый отличник. Задачки, говорит, решает, как семечки лущит. Это тоже ты им рассказывал?

— Они меня идеализируют. Понял?

После этого разговора я спросил у мамы, почему меня так полюбили малыши.

— Просто ты добрый, — сказала мама. — А маленькие очень привязчивые и старших всегда любят.

Я ничего не ответил маме, но с этого дня каждый день стал заниматься зарядкой и аккуратно готовил уроки. Это оказалось совсем не так трудно. Главное было привыкнуть.

Я купил себе теннисный мячик и целыми днями мял его в кулаке — развивал мускулатуру рук. По-моему, я делал определенные успехи.

Я мечтал о том дне, когда стану настоящим атлетом. Вот тогда придет расплата. Тогда-то я поговорю с тем длинным из бассейна. Неизвестно, кто еще кого щелкнет пальцем по ключице.

Ольга Андреевна, разговаривая со мной, перестала поджимать губы и даже однажды сказала:

— Знаешь, Бока, ты определенно напоминаешь своей настойчивостью Игоря.

Это была высшая похвала, на какую я мог рассчитывать. Ольга Андреевна сравнила меня со своим сыном, с самим Игорем. И все же я ответил:

— Ольга Андреевна, я же просил вас не звать меня Бокой.

— Ах, дорогой мой мальчик! Разве в имени дело. Моего мужа, который провоевал всю гражданскую, а в эту войну пошел в ополчение и погиб под Москвой, звали Минуткой. В детстве он не выговаривал буквы «ш» и вместо Мишутки называл себя Минуткой. А впрочем, если ты настаиваешь, я постараюсь не называть тебя Бокой.

Между тем приближался день маминого рождения, и пора было покупать подарок.

У нас дома это серьезно. Не подарить маме подарок — значит подвести папу.

Пришлось отправиться в магазин, хотя я ненавижу ходить по магазинам. Все толкаются, к прилавку не подойдешь. Сразу делается жарко, и уже ничего не хочется покупать.

По дороге в магазин я встретил Нину с каким-то высоким, худым мужчиной в очках.

— Боря! — крикнула Нина. — Боря!

Я остановился. Надо сказать, что я не знал, о чем говорить с этими малышами при родителях.

Мужчина посмотрел на меня. У него были толстые стекла в очках и глаз почти не было видно. Честно говоря, мне такие «очкарики» не очень нравились. Он был типичный доктор. Я предпочитал более мужественные профессии, но пришлось все же подойти.

— Папа, это наш Боря. Вожатый, — сказала Нина. — Он учится в шестом классе.

Она говорила обо мне так, точно я академик или народный артист. А этому доктору, может быть, на меня начхать.

Мужчина протянул руку и сказал:

— Очень приятно. Меня зовут Иннокентий Иннокентьевич.

Я ничего не ответил, а подумал, что на этом имени легко сломать язык.

— Мы идем в кино, — сказала Нина.

— Понятно, — ответил я. — Интересная картина?



— Интересная, — вмешался в разговор Иннокентий Иннокентьевич. — Пойдем с нами?

«А почему бы мне в самом деле не пойти в кино? — подумал я. — Позже ■ магазинах будет меньше народу».

— Можно, — сказал я.

— Нина, купи Боре билет. — Иннокентий Иннокентьевич протянул ей монету в пятьдесят копеек.

— Нет, что вы, — сказал я ■ вынул из кармана два оставшихся папиных рубля. — Я сам привык платить за себя.

Иннокентий Иннокентьевич покраснел ■ сказал:

— Ну что ж, пожалуйста.

В фойе мы купили мороженого ■ стаканчиках. Я, конечно, опять на свои деньги. Сначала я не хотел покупать мороженого. Но неудобно смотреть им в рот, как они лизут это мороженое. А потом, я побоялся, что этот доктор поду-

мает, что я жадничаю. Купил себе любимое — клубничное. Потом пошли в зал.

Картина была неплохая, но как только в зале погас свет, с меня сразу вся лихость слетела и я испугался, что истратил столько денег.

Да, в эти минуты досталось от меня очкастому Иннокентию Иннокентьевичу.

Недаром у меня всегда было какое-то недоверие к людям, которые носили очки с толстыми стеклами. Устроил мне номер, ничего не скажешь. Теперь папа будет говорить, что я ненадежный человек, что дело совсем не в подарке, в том, что я не выполнил обещания. А Ольга Андреевна снова будет поджимать губы и укорять меня всякими отрывками из басен Крылова.

Из кино мы вышли вместе.

— Хорошо. Грустно и хорошо, когда наступают последние осенние дни, — сказал Иннокентий Иннокентьевич.

Листья в поле пожелтели,
И кружатся, и летят;
Лишь в бору, поникши, ели
Зелень мрачную хранят.

«Листья, — подумал я. — Какое мне дело до листьев, когда у меня от папиных денег остался рубль».

— А не махнуть ли нам во Внуково? — спросил Иннокентий Иннокентьевич. — Там сейчас великолепно.

Мне было все равно, куда махать, и я ответил:

— Можно, пожалуй.

— Я очень довольна, что ты познакомился с моим папой, — сказала Нина. — Хорошо все получилось?

— Хорошо, — ответил я. — Лучше не придумаешь.

Мы пришли на проспект Карла Маркса. Постояли несколько минут у гостиницы «Метрополь», посмотрели на машины иностранных марок. В этой гостинице живут иностранцы. Они приезжают в Москву на своих машинах. И поэтому

здесь всегда стоят машины с чужими номерными знаками: пражскими, парижскими или варшавскими.

— Нравятся? — спросил Иннокентий Иннокентьевич.

Это был наивный вопрос — кому же машины не нравятся! Я кивнул.

— Значит, мы с тобой родственные души. Я тоже люблю машины. Могу часами любоваться.

Честно говоря, я больше бы поверил, если бы он сказал, что может любоваться часами осенним листопадом.

— У нас дома есть коллекция, — сказала Нина. — Эмблемы грузовых и легковых машин.

— Я собрал уже пятьдесят эмблем марок автомашин, — сказал Иннокентий Иннокентьевич.

— А я даже не знал, что такие коллекции собирают, — признался я.

— Могу поделиться своим опытом и коллекцией, — сказал Иннокентий Иннокентьевич.

Тут подошел внуковский автобус-экспресс, и я ничего не успел ответить.

Во Внукове было действительно хорошо. На аэродромном поле стояли самолеты: реактивные, беспропеллерные «ТУ», четырехмоторные турбовинтовые «ИЛы». От их крыльев на бетонные плиты аэродрома падали тени. В тени спокойно прятались большие грузовики-бензовозы.

Мне показалось, что это не обыкновенный аэродром, а космодром. Сейчас загудят моторы, и эти самолеты уйдут куда-то в неизвестную высь.

Но тут стайка людей, обыкновенных людей в пальто, шляпах и даже с ободранными, старыми портфелями и чемоданами в руках, прошла через контроль и направилась к самолету.

Они были такие незаметные, эти маленькие люди, на большом бетонном поле среди могучих, многотонных самолетов.

И летчики были ничуть не лучше всех остальных. Они

только немножко увереннее шли по летному полю, разговаривали и смеялись.

Самолет вырулил на взлетную дорожку, дал полный оборот моторам и взлетел.

Он уже превратился в тоненькую горизонтальную полоску, а я все смотрел ему вслед и думал про людей, которые сидят там в удобных креслах, и им совсем не кажется удивительным, что они так высоко над землей.

— Я уже летал сотни раз и никак не могу привыкнуть, — сказал Иннокентий Иннокентьевич. — Страшно, но волшеб-но. Этакую многотонную штучку поднимают в небо.

Прилетел другой самолет. Когда он уже бежал по полю, то на хвосте у него выскочило два маленьких парашюта.

— Посадочная скорость очень большая, — сказал Иннокентий Иннокентьевич. — Парашюты для торможения.

Прошли пассажиры. Они были веселые, разговаривали и смеялись, а летчики шли молча.

«Устали, — подумал я. — Нелегко, вероятно, управлять самолетом».

— Как вы думаете, Иннокентий Иннокентьевич, меня возьмут в летчики? — Сам не знаю, как у меня выскочил этот вопрос, и теперь я боялся, что он засмеется или начнет говорить об этом слишком громко и нас услышат чужие люди.

Он посмотрел на меня, и я увидел, как в стеклах его очков играют солнечные лучики, и в солнечных лучиках маленькие, далекие, колющие глаза. Они всегда одинаковые, по таким глазам ни о чем не догадаешься.

— Знаешь, важно не бояться и хотеть, — сказал Иннокентий Иннокентьевич.

— А я не боюсь и хочу, — ответил я.

Нравилось мне, что он говорил как-то по-своему. А то другой бы обязательно сказал: если ты будешь хорошо учиться и т. д., то возможно...

Все ■ так уже сейчас знают, что учиться надо, можно

об этом лишний раз не напоминать. А многие взрослые об этом напоминают просто от лени. О другом ответе надо думать, а этот сказал и отвязался.

— Ты решил стать летчиком? — спросила Нина. — А говорил, поедешь в Сибирь.

— Ты что-нибудь слышала о летчиках, которые открывают на своих самолетах залежи полезных ископаемых? Они летают над Сибирью, утюжат сибирскую тайгу. А в самолете у них специальный прибор, он все отмечает. Где руда, где вольфрам, где никель.

— Нет, — ответила Нина. — Не слыхала.

— И другие, конечно, в вашем классе не слыхали?

— Может быть, Костиков знает. Он иногда читает «Юный техник».

— Придется тебе им про это растолковать, — сказал Иннокентий Иннокентьевич.

— Придется, — ответил я.

* * *

В день маминого рождения я всеми силами старался не вставать, пока мама не уйдет. Плохое у меня было настроение, и неизвестно, что говорить маме. Подарка я ей так и не купил.

Открыл один глаз и осторожно поглядывал, как она собирается на работу. Обычно по утрам она ужасно веселая и энергичная, а сегодня она была печальная.

Конечно, день рождения, а никто не поздравляет. Точно она живет не в семье, а на необитаемом острове.

«У меня плохое настроение — это так, — подумал я. — Но мама не виновата, что я такой легкомысленный тип».

Встал, подошел к маме и сказал:

— Поздравляю.

— Спасибо, — сказала мама. — А я решила, что ты забыл.

Чмокнул маму в щеку. Он нее пахло молоком.

Когда я маму поздравил, она сразу повеселела. Для нее все было в порядке. Я ее поздравил, папа тоже, конечно, поздравит. Значит, все в порядке. Правда, когда папа бывал дома, то он всегда дарил ей подарки: духи там или новый шарфик. А тут папы нет.

Она-то не знала, что папа все поручил мне. Это ведь было нашей мужской тайной.

Мама побегала еще немного по комнате. Переодела кофточку. У нее такая привычка — утром обязательно два раза переодеваться. А потом ушла.

И тут зазвонил телефон. Длинный, продолжительный звонок междугородного телефона. Ольга Андреевна решила, что это звонит ее сын, и бросилась к аппарату. Но оказалось, что это папа.

— Мама уже ушла, — сказал я.

— Какая жалость! — ответил папа. — Ну, ты ее поздравил?

— Конечно, — сказал я. — Поздравил.

— Что ты ей подарил? — спросил папа.

Слышно было, как назло, очень хорошо. Когда где-нибудь в кино или в театре изображают телефонный разговор, то обычно бывает плохо слышно и артисты кричат во все горло и путают слова, и от этого выходит всякая путаница. А тут было слышно превосходно.

Но я все же притворился, что не расслышал вопроса.

— Что? — крикнул я. — Не слышу, повтори еще раз.

Рядом стояла Ольга Андреевна, а папа так заорал в трубку, что не только я или Ольга Андреевна, а прохожие на улице могли услышать его голос.

Прижал трубку к уху изо всех сил, несколько раз «чтокнул» и, не слушая папу, повесил трубку.

Телефон зазвонил снова.

— Не вешайте трубки, — сказала телефонистка. — Разговор не окончен.

— Ничего не слышно, — ответил я.

— Нет, слышно, — сказала телефонистка. — А если вы глуховаты, позовите кого-нибудь с нормальным слухом.

Тут ворвался папин голос. Он сказал, что ничего подобного — его сын совсем не глухой, а их телефон работает неважно.

— Папа, — сказал я, — теперь я тебя слышу хорошо.

— Ну, что же ты купил маме?

— Ничего.

— Ничего? — удивился папа. — Зря я на тебя понадеялся. А почему ты, собственно, ничего не купил?

— У меня нет денег.

— Как — нет? Ты их потерял?

— Не потерял, а нет.

Хотел ему все объяснить, но по телефону это трудно.

— Ну, понимаешь... — Надо было как-то отделаться, и я сказал: — Проел на мороженое.

— Так, — сказал папа. — Силён мужик. — Помолчал. — Обидно, что ты меня подвел.

Папа не попрощался со мной и повесил трубку.

Никогда он не кричал и не ругался на меня и даже никогда не сердился. Такой он был человек. Всегда говорил про меня: «Мал еще, вырастет — поймет». А тут ничего такого не сказал, повесил трубку, и все.

День был скучный. В школе я ни с кем не разговаривал. А если ко мне кто-нибудь приставал, огрызался. Хотелось поругаться.

Вечером некуда было деваться. А мама все время спрашивала, почему я такой грустный.

Тоска заела меня просто смертельная. Одедся и вышел.

У староарбатского метро остановился и купил себе мороженое. Весь рубль проел на мороженое. Последний папин рубль. Меня прямо тошнило от этого мороженого. А я ел и ел, не знаю почему. Вероятно, от одиночества и от жалости к себе хотел все свои внутренности заморозить.

Потом стал приглядываться: искал веселую молодую парочку. Мне когда скучно, я всегда так делаю. Найду такую парочку и иду следом за ними. Интересно на них со стороны смотреть: медленно они идут, останавливаются, где только можно. И все время смеются.

А я иду следом и делаю все то же, что и они.

Они остановятся у витрины. И я останавлиюсь. Они начинают смеяться. И я про себя смеюсь. Даже если ничего смешного на ум не приходит, растягиваю губы и корчу рожи. А потом мне действительно делается смешно.

Но сегодня был невезучий день. Молодые парочки не попадались, а всё какие-то солидные. За такими не увяжешься: они или загоняют до пота, или засохнешь от тоски.

Взял и позвонил Нине.

— Кто ее спрашивает?

Я узнал по голосу Иннокентия Иннокентьевича.

— Борис.

Хотел поздороваться, но не стал. А то еще подумает, что навязываюсь.

— А, Борис. Давай заходи в гости.

— Прямо сейчас?

— Конечно.

Походил минут двадцать для солидности у Нининого подъезда и зашел.

Вся их семья была в полном сборе. Пришлось здороваться со всеми за руку.

Потом Иннокентий Иннокентьевич повел меня в другую комнату и показал свою коллекцию.

Это было неслыханное богатство. В большом ящике, в отдельных гнездах, лежали эмблемы разных автомашин. Олени, быки, львиные головы, антилопы, самолеты, звезды, копья.

Эмблемы были тщательно отникелированы. Они были холодные, блестящие и недоступные. Я гладил, перебирал их, расставлял на столе.

— Ну как? — спросил Иннокентий Иннокентьевич. — Как тебе моя коллекция?

— В порядке, — ответил я.

Я так был растерян, что просто больше ничего не мог сказать.

— Будешь собирать такую же?

— Попробую, — ответил я робко.

— Тогда для начала возьми себе пять эмблем.

— Что вы, Иннокентий Иннокентьевич. Такая ценность!

— Бери, тебе говорят. Презираю коллекционеров, которые не поддержат товарища.

Я посмотрел на коллекцию и не знал, на чем остановиться. Мне даже жарко стало. Наконец я собрался с духом и взял три эмблемы.

Я взял три самые старые, облупленные эмблемы, чтобы не обидеть Иннокентия Иннокентьевича. Потом помялся и взял две получше: серебристую, с синим пятнышком эмблему итальянской машины «фиат» и чешскую квадратную пластиночку с видом гор Высокие Татры — эмблему машины «татра».

— Сейчас я тебе заверну их, — сказал Иннокентий Иннокентьевич.

— Не надо. Я так, — и спрятал эмблемы в карман.

Потом мы пошли пить чай. За столом уже сидели Нина, ее бабушка и мама Людмила Захаровна.

— Налюбовались? — спросила Людмила Захаровна.

— Чем бы дитя ни тешилось, — сказала бабушка, — лишь бы не плакало.

Я не понял, про кого бабушка сказала, и промолчал. А Нина рассмеялась:

— Это она про папу.

Я сел и опустил руки в карман. Пощупал эмблемы.

— Боря, — спросила Нина, — ты какое больше любишь варенье: сливовое или вишневое?

— Сливовое, — ответил я.

— А я вишневое, оно у нас с орехами.

Нина стала накладывать варенье в блюдце и уронила одну ягодку на скатерть.

— Ах, какая ты, право, размазня! — сказала Людмила Захаровна. — Руки у тебя дырявые.

Нина покраснела. Хуже всего эти чай, не знаешь, о чем говорить, варенья толком не поешь, потому что кажется, что тебе смотрят в рот. В таком положении сразу вспоминаешь что-нибудь плохое. И я, конечно, вспомнил про истраченные деньги.

Тут мне сразу расхотелось и варенья и чаю. И даже эмблемы, которые царапали мне ногу сквозь материал в кармане, не успокоили меня.

— Спасибо. — Я встал. — Мне надо идти.

— Что ты, Боря, — сказала Людмила Захаровна, — так быстро уходишь? Посидел бы.

Вообще мне Людмила Захаровна не понравилась. Мне показалось, что она больше говорит ради вежливости, а на самом деле ей все равно: уйду я или нет. Не люблю я, когда говорят только из вежливости.

Я вышел в переднюю вместе с Ниной.

— Я думала, мы поиграем с тобой, потом посмотрим телевизор, — сказала она жалобным голосом.

— Ничего, обойдешься без веселья.

— Почему ты такой грубый? Мама говорит, что грубые люди всегда жестокие.

— Ну, твоя мама тоже...

— Это ты из-за варенья? Она никогда меня не ругает. Просто она волнуется. Они ведь с папой уезжают на полгода в командировку, и она волнуется, как я останусь одна.

— А куда они уезжают?

— В Африку, — ответила Нина.

В Африку? Мне стало смешно от ее вранья.

Иннокентий Иннокентьевич, худой и в очках, и Людмила Захаровна, которая делает замечания за какую-то несчаст-

ную ягодку, упавшую на скатерть,— и вдруг в Африку. В джунгли, под жаркое солнце, под тропические ливни, где на каждом шагу ядовитые змеи ■ тигры. Я посмотрел на Нину, на ее коротенькое розовое платье и большие розовые банты.

— А ты хоть знаешь, где находится Африка?

— Конечно, знаю.— Нина рассмеялась.— Я даже стихи помню, мы их еще в детском саду учили.

В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие злые крокодилы...

— И все, больше ты ничего не знаешь про Африку? Ну, и нечего врать.

— Я никогда не вру,— сказала Нина.

Что-то я говорил не то, приставал к Нине и старался ее обидеть.

— Ну ладно, африканка,— сказал я примирительным голосом,— до свидания.

«В конце концов,— подумал я,— она же совсем не виновата, что я истратил деньги и не купил маме подарок».

Меня остановил голос Иннокентия Иннокентьевича:

— Ты так и не поверил, что мы уезжаем?

— Поверил,— ответил я нерешительно.

— Да, брат, едем в Африку людей лечить. Там еще разными тяжелыми болезнями болеют: оспой и холерой.— Иннокентий Иннокентьевич посмотрел на Нину.— Ну-ка, Нинок, оставь меня с Борисом. У нас серьезный разговор... Понимаешь,— сказал Иннокентий Иннокентьевич,— я на тебя по-настоящему надеюсь.— Он снял очки и стал их протирать. Без очков у него было смешное и беспомощное лицо.— Нина девочка несамостоятельная, а бабушка у нас старая. И вот мы с Людмилой Захаровной просим тебя присмотреть за Ниной. Я на тебя по-настоящему надеюсь.

— Вы не беспокойтесь, — сказал я. — Что с ней может случиться? Я за ней присмотрю.

— Нет, ты твердо ответь, как мужчина мужчине. Можно на тебя положиться? Ведь мы уезжаем не на дачу, а в Африку.

Я хотел дать ему клятву. Он определенно мне нравился, он стал для меня как товарищ. Я даже ему очки уже простил и то, что он любил читать стихи. В общем, он был хороший человек, и мне почему-то не хотелось его обманывать. Вспомнил, как я подвел папу, и тут точно кто-то наступил мне на язык.

— Ну, что же ты, не хочешь? Или, может быть, считаешь, что с девочкой нельзя дружить?

— Ничего я не считаю, но обещать не могу. Буду стараться изо всех сил, а твердо обещать не могу. Всякие могут быть неожиданности.

— А я на тебя, признаться, надеялся.

— Не могу обещать, — упрямо ответил я.

■ тут у меня мелькнула мысль, что только поэтому Иннокентий Иннокентьевич зазвал меня в гости и подарил часть своей коллекции.

Я посмотрел ему прямо в лицо, чтобы проверить свою догадку, но разве что-нибудь рассмотришь за этими толстыми стеклами очков. Он стоял передо мной высокий, худой и тер подбородок.

Я полез в карман и вытащил драгоценные эмблемы.

— Возьмите, — сказал я. — А то подумаете, что я неблагодарный. Эмблемы взял, а просьбу вашу не могу выполнить.

— Да ты просто дурак, — сказал Иннокентий Иннокентьевич. — Надутый, глупый человек. Я еще никого в жизни не задабривал. Сейчас же спрячь эмблемы, или я с тобой больше никогда в жизни не поздороваюсь.

Я выскочил на лестницу и побежал вниз.

— Боря, Боря,— крикнул Иннокентий Иннокентьевич,— вернись!

Я молчал. И вся лестница молчала. Только мое имя глухо разносилось по лестнице и стучалось о холодные камни.

— Что случилось? — спросила Нина.

— Боря почему-то обиделся и убежал,— ответил Иннокентий Иннокентьевич.— Нехорошо.

— Он сегодня странный,— сказала Нина.— На меня накричал, мама ему наша не понравилась...

Наверху хлопнула дверь, и голоса пропали.

* * *

В первый зимний день у меня наконец возникла новая блестящая идея: отвезти всех ребят на стадион, чтобы они поступили в кружок юных фигуристов.

Дело в том, что последнее время у меня вообще не было никаких идей. Неудача с маминым днем рождения сильно подействовала на меня. А тут пришло от папы письмо. В нем была всего одна строчка: «Куда истратил деньги?»

Значит, папа не поверил, что я проел их на мороженое. И я ему все честно написал: и про пирожок Гене Симагину, и про кино, и про Иннокентия Иннокентьевича и Нину.

В письме легче все объяснить. А то когда так рассказываешь, получается, что ты оправдываешься и выкручиваешься.

Написал письмо — настроение сразу улучшилось. А тут под ногами первый снег похрустывает, вот и родилась идея о фигуристах.

Договорились собраться возле школы. Все ребята пришли, не было только Нины, Зины и Гены Симагина.

Потом появилась Нина и сказала:

— Зина отказалась идти. Ее мама заявила, что у нее завтра важная тренировка в бассейне, и ей не до октябрьских мероприятий.

— Так,— сказал я.— А где Генка?

— А Генка помогает маме убирать снег,— ответила Нина.— У них много работы.

Она мне это сказала с какой-то обидой. Точно я виноват в том, что Зина стала задаваться и метит чуть ли не в чемпионки по плаванию, а Генка должен работать.

— Ну, пошли,— сказал я.— А то опоздаем.

Все тронулись, но я чувствовал, что у малышей не было настроения. Они не возились и не шумели.

— Вот что,— сказал я.— Зайдем все же за Генкой. Может быть, он пойдет с нами.

Развернулись и пошли к Генке.

Еще издали я увидел его. Он сгребал снег лопатой, а его мать скребком чистила тротуар.

— Здравствуйте,— сказал я.

Ребята столпились вокруг меня. Генина мать посмотрела на нас. Она была в короткой тужурке и в пуховом платке. От работы ей, видно, было жарко.

— Приветик,— сказал Генка; он приподнял шапку, и от головы у него повалил пар.

— Ну-ка надень шапку, постреленок,— строго сказала ему мать,— а то застудишься!

Генка напялил шапку.

— Вот ему и физкультура. Он теперь этой физкультурой будет заниматься всю зиму,— сказала Генкина мать.— И полезно, и матери подмога. Так что вы, ребятишки, идите по своим делам.

— Что вы! — сказал я.— Разве мы пришли Гену сманивать? Мы пришли вам помогать.

— Тетя Маруся,— крикнул Костиков,— мы сейчас все переделаем! Это нам пустяк!

— Вот это уже ни к чему,— ответила тетя Маруся.— Мы и сами справимся.

А Генка не стал возражать, он-то отлично понял нашу хитрость. Нам важно было, чтобы Генка побыстрее освобо-



дился и мы отправились на каток.

Генка куда-то сбегал и принес две лопаты и три скребка.

Что тут началось! Каждый выхватывал у него эти лопаты и скребки. Пришлось установить очередь.

Первыми принялись за работу мальчишки. Они скребли тротуар отчаянно. Но работа была не такой уж легкой. Неизвестно откуда под снегом образовался крепкий ледок, и скребки его не брали.

Тетя Маруся принесла лом и стала колоть этот ледок.

Потом лом у нее взял я. Тяжелый он был до чертиков, но я не показывал виду. Колол себе, и все, ■ про себя ругал наших конструкторов: «Это в наше-то время, когда запускают спутники и космические корабли, приходится вот так колоть лед ломом. Конечно, может быть, этот лом и историческая

ценность. Я уверен, что такие ломы уже не выпускают лет сто. Но все равно он никому не нужен».

Когда работа подходила к концу, вдруг из ворот выплыли Зина и ее мама.

Разоделись в пух и прах. Зина в новом голубом пальто и в берете. Волосы коротко подстрижены. Она первая в классе остригла косы. Они, видите ли, мешали ей плавать. А сама Босина напялила на голову ярко-красную модную папаху.

Лично я не против нарядов. Мне даже нравится, когда люди красиво одеты. Но здесь все это как-то было не к месту.

Ребята, как по команде, повернулись ■ Зинину сторону.

— А, это вы, молодой человек.— Босина оглянулась на ребят и сказала: — Знаете, ваша идея на этот раз не так удачна. Вы просто неоригинальный чудака — работать дворниками. В атомный век.

Она назвала меня чудаком, словно дураком обругала. Но я-то был доволен, что попал в «отряд» чудаков. А она, видно, думала, что обидела меня.

— Мы помогаем Гениной маме,— сказала Нина.

— А ваш директор школы об этом знает? — спросила Босина.

— При чем тут директор? — сказал я.

— А при том, что это эксплуатация детского труда.— Она посмотрела на тетю Марусю.— Да, да. Идем, Зиночка.

И они удалились. А меня даже в жар бросило от ее слов. Боялся поднять глаза на тетю Марусю.

— Ну, хватит, ребята,— сказала тетя Маруся.— Спасибо за помощь. Бегите по своим делам.

Мы прибежали на каток мокрые как мыши. В раздевалке катка уже никого не было. Только какая-то тетя, видно уборщица, разговаривала с маленьким, сухопарым мужчиной. Мы влетели всей оравой, и они сразу замолчали и уставились на нас.

— Это что еще за безобразие! — зашумела женщина.—

С этими детьми нет сладу. Вы что, не знаете? Занятия кружка закончились. Давай, давай по домам! — Она кричала, размахивала руками и вытесняла нас понемногу из комнаты.

Тогда я шмыгнул под ее руку и подошел к мужчине. Торопливо рассказал ему, в чем дело. И тут нам абсолютно повезло. Можно сказать, фантастически повезло.

— Тетя Катя, погоди одну минуту, — сказал мужчина. — Дай я поговорю с ребятами.

Все малыши собрались вокруг нас, а Костиков, чтобы задобрить мужчину, сказал:

— Здравствуйте, дядя.

— Здравствуйте, тетя, — ответил мужчина.

Это было несколько неожиданно. И, может быть, обидно для Костинова. Он ведь не хотел посмеяться над этим мужчиной. Но мужчина весело рассмеялся. И все ребята рассмеялись.

— Значит, хотите всем классом учиться фигурному катанию? А коньков ни у кого, разумеется, нет? А в магазине купить нельзя, потому что они дорогие? В кружки записываться тоже нельзя, потому что запись прекращена.

— Что же делать? — робко спросила Нина. — Нам так хотелось. — Это она спасала мою затею. — Мы уже были осенью в бассейне. Но там взяли только одну нашу девочку.

«Теперь все пропало, — подумал я. — Он, может быть, решит, что мы ходим по всем стадионам, лишь бы куда-нибудь пристроиться».

— Так, — сказал мужчина. — Ты, паренек-вожатый, составь список и против каждой фамилии поставь номер ботинок. Если наберем коньки, будем заниматься.

Тут я вытащил свою тетрадь с фотографиями ребят и протянул мужчине.

Он взял ее и стал перелистывать. Медленно так перелистывал.

— Где это вы сфотографировались?

— В моментальной автоматической, в ГУМе.

— Скажи-ка...

По-моему, моя тетрадь ему понравилась. Это было переломным моментом в нашей беседе.

— Ну вот что, ребята. Я иду против правил,— сказал мужчина.— Но обожаю энтузиастов. Только по-честному, не опаздывать. Буду заниматься сверхурочно.

* * *

Однажды к нам в класс пришла Наташа.

— Ребята! — сказала Наташа.— В совете дружины довольны работой Бориса Збандуто. Они хотят, чтобы мы еще одного вожатого дали для октябрат, во второй «Б». Кто хочет?

И вдруг Саша Смолин сам поднял руку.

У меня от удивления глаза на лоб полезли. А Сашка покраснел, когда поймал мой взгляд, но руку не опустил.

— Ты, Смолин? — удивилась Наташа.

— А что? — спросил Сашка.— Не доверяете?

— Наташа,— сказал я,— раз Смолин хочет сам — значит, ему можно доверить. Мне же вы доверили.

И Сашка Смолин стал вожатым октябрат второго «Б».

Через несколько дней он совершенно спокойно подходит ко мне и говорит:

— А твои по сравнению с моими слабаки.

— Почему ты решил? — спокойно спросил я.— Без году неделя как попал в вожатые и уже все знаешь.

— А потому, что я взял классные журналы и сравнил. У твоих отметки хуже.— И он мне показал аккуратно выписанные отметки своего и моего классов.

— А ты буквоед и бюрократ,— сказал я.— Но отметки — это еще не все. У моих душа хорошая.

— Ты что же, считаешь, что у моих души нет?

— Думаю.

— Один индюк думал, думал да в суп попал.

— А ты тот суп ел?

— Что-то не хочется, я из знакомых индюков супы не ем.

— Так вот, заруби на своей картошке, именуемой в анатомии носом, что этот индюк пока жив и здоров и постарается обставить второй «Б». — Я подбросил вверх теннисный мячик, который держал в руке, и преспокойно удалился.

* * *

Утром, как всегда, я побежал к Нине.

Я теперь каждый день бегал к ней. Боялся, проспит. Ужасно, до чего она любила спать. Вечером может лечь хоть в двенадцать часов, а утром не подымешь. Бабушка с ней справиться не могла, и я стал прибегать по утрам. Мы вместе делали зарядку. Потом Нина завтракала, и мы шли в школу.

— Все готово? — спросил я у Нины. — На зарядку становись. Заводи пластинку.

Я считал, что зарядку веселее делать под музыку. Мы обычно занимались зарядкой под мексиканские народные мелодии.

— Ничего не готово, — ответила Нина. — У бабушки болят ноги, и нет завтрака.

— Так, — сказал я. — А где бабушка?

Мы прошли к бабушке в комнату. Она лежала в кровати. Грустная.

— Здравствуй, Боря. Ходить сегодня не могу — ноги болят, и завтрак не приготовила.

— Хлеб есть? — спросил я.

— Нет хлеба, — ответила Нина. — Бабушка не любит с вечера покупать хлеб: она любит свежий.

— С детства так привыкла, — сказала бабушка виновато. — Мы всегда покупали хлеб утром.

— Аврал,— сказал я.— Зарядка на сегодня отменяется. Я бегу за хлебом и маслом, а ты кипятишь чай и варишь яйца.

Через пять минут я уже вернулся. У Нины вовсю горел газ.

— Газ нужно открывать поменьше,— сказал я.— Чтобы не обгорел чайник.

— Боря, а у меня яйца полопались,— сказала Нина.

— Эх ты, голова садовая. Если яйца опускаешь в кипяток, нужно его посолить, тогда они и лопаться не будут. Ну, садись питайся, а я покормлю бабушку.

Я налил чаю в стакан, намазал ломоть хлеба маслом, взял два яйца и пошел к бабушке.

— Вот, бабушка, позавтракайте, вам сразу лучше станет.

— Что ты, Боря,— сказала бабушка,— при моем тромбофлебите яйца есть нельзя.

— При чем?

— Болезнь такая — тромбофлебит. У старых обычно бывает. А в яйцах есть вещество, которое усиливает эту болезнь.

Вот не знал я этого.

— А что же вы кушать будете?

— Выпью чай, съем хлеб,— сказала бабушка.— И куда их понесло — в какую-то Африку. Не знаю, вызывать их или не вызывать.

— Зачем же вызывать,— сказал я.— Пока они доедут до Африки, вы уже поправитесь.

— Боря, я уже позавтракала,— сказала Нина.— Можно идти.

Я посмотрел на бабушку, и мне стало почему-то очень ее жалко.

— Вот что, Нина, ты оставайся дома. А я поговорю с вашей учительницей. Первый урок ты пропустишь, а на второй тебя кто-нибудь подменит. Ясно?

— Ясно.

На улице меня ждал Толя Костиков. Он поджидал нас с Ниной.

— Что так долго? Можно опоздать, а мы сегодня с Ниной дежурные. Сам говорил, что дежурные должны приходить в класс первыми.

— Говорил. Бабушка у Нины заболела.

— Заболела? Я тоже недавно болел: наелся мороженого и схватил ангину. Пришлось уколы делать. За каждый укол мне мама давала по конфете. Я потом так притерпелся, что мог сколько угодно уколов вынести. А у нее что, грипп или, может быть, свинка?

— Да нет,— ответил я.— У нее другая болезнь, старческая. Яйца есть нельзя, ■ так далее.

— Это плохо,— сказал Костиков.— Я люблю яйца вкрутую. Мама ест белок, а я только желток.

— Нужно тебя, Костиков, обсудить на октябратском сборе,— сказал я.— Неправильно тебя воспитывают: растешь ты, как тепличное растение. За каждый укол по конфете, в яйцах только желтки ешь... Что это такое?

Круглое, толстое лицо Костикова стало пунцово-красным.

— А что, разве нельзя одно любить, а другое — нет?

— Можно, но, понимаешь, у тебя это носит какой-то не такой характер. Вырастешь ты, поедешь, ■ примеру, в Сибирь; кто тебе там будет одни желтки от яиц давать?

— Я в Сибирь не поеду,— сказал Костиков.— Я буду полярником, поеду в Антарктиду.

— В Антарктиду? Тем более — там мороз семьдесят градусов и полное самообслуживание.

Вдруг Костиков рассмеялся.

— Ты чего? — удивился я.— По-моему, смеяться нечего.

— ■ Антарктиду берут консервы?

— Берут,— ответил я.

— А я буду там есть консервированный яичный порошок. Он из одних желтков.

Ох и хитрый был этот Костиков! Но мне теперь было не

до него; теперь я думал о том, как помочь Нининой бабушке. Решил назначить к ней дежурных из малышей и выбрал первых пятерых ребят. А Нину после уроков повел к себе домой, чтобы покормить обедом.

Потихоньку открыл дверь.

— Ой, какая у вас большая передняя! — сказала Нина. — У нас она намного меньше.

— Тс-с! — сказал я.

Я боялся, что услышит Ольга Андреевна и что-нибудь выйдет не так.

— У вас что, нельзя громко разговаривать? — спросила Нина.

— Можно. Ну, знаешь, а вдруг соседка спит. Ты раздевайся и проходи в комнату. А я пойду разогрею обед.

Самое главное — это было успеть пообедать до прихода мамы. Мне неудобно было подгонять Нину, а ее прямо распирало от желания поговорить.

— Очень вкусный суп. Мама моя, знаешь, тоже готовит вкусные супы, а бабушка любит борщи да щи разные.

— Когда я ем, я глух и нем, — сказал я.

И тут вошла мама.

Она увидела Нину и остановилась как вкопанная. Как будто Нина была не худенькая, бледненькая девочка с тоненькими косичками, а дракон. Мама просто не могла произнести ни слова.

— Здравствуйте, — сказала Нина.

Она очень покраснела, и я тоже покраснел, точно мы сделали что-то недозволенное и нас поймали.

— Здравствуй, девочка, — сказала мама. — Сиди, сиди. Сейчас я вымою руки и пообедаю вместе с вами.

— Мама, мама! — Я был так рад, что готов был впервые в жизни сам расцеловать маму. — Нина сказала, что ты готовишь очень вкусные супы!..

— Ах, так это и есть Нина, у которой папа и мама уехали в Африку?

— Конечно, это она. У нее бабушка заболела, и у них нет обеда. Вот я ее и привел. А сейчас мы пойдем к ее бабушке. Мы одно дело придумали.

Потом мама убежала на кухню, а к нам в комнату пришла Ольга Андреевна. Она только качала головой, точно чему-то удивлялась.

— А мне Боря рассказывал, — сказала Нина, — что у вас сын в Сибири.

— Боря у нас молодец, — сказала Ольга Андреевна.

Мама пришла из кухни и принесла две кастрюльки.

— Вот, Нина, это твоей бабушке. А то что же она голодная.

— Что вы, — сказала Нина и покраснела.

— Боря, неси, да не разлей.

Вообще я терпеть не мог ходить с кастрюлями и с авоськами, а тут шел и думал: «Хорошая у меня мама» — и совсем не стеснялся, что у меня в руках авоська. У Нининового подъезда нас поджидали малыши. Я велел прийти пятерым, а они пришли всем классом.

— Почему вы все пришли? — спросил я.

— Ну, Боря, — жалобно сказал Гена Симагин. — Всем хочется помочь Нине.

— Ладно, — согласился я. — Придется разбить вас на группы. — Я сосчитал ребят. — Первая группа пойдет за сахаром, вторая — за манной крупой, третья — в поликлинику, чтобы вызвать врача. Четвертая группа в резерве. Сейчас я подымусь с Ниной в квартиру и принесу деньги.

Дверь мы открыли потихоньку, чтобы не потревожить бабушку, и услышали громкий голос Костикова. Он был дежурным.

— ...У меня есть слабости. Я очень люблю сладкое и желтки от яиц. Боря сегодня сказал, что я избалованный. А я пришел домой и рассказал маме. Она мне говорит: про желтки — это Боря прав, а про сладкое — нет. А как вы думаете?

— Я тоже так думаю,— ответила бабушка.— Если сладкое у тебя не отбивает аппетит, значит, ничего страшного.

— Нет, совсем не отбивает,— обрадовался Костиков.— Я могу съесть пирожное, а потом преспокойно пообедать.

Нина засмеялась. Костиков услышал, что мы пришли, и выскочил в коридор.

— Что ты, Костиков, больному человеку не даешь отдохнуть? — спросил я.

— Просто я хотел ее развеселить,— ответил Костиков.

— Ну ладно, Костиков, ты иди,— сказал я.— Теперь Нина побудет с бабушкой. Покормит ее обедом.

Я взял у бабушки деньги и вышел на улицу.

— Сахарная группа,— сказал я,— ко мне. Вот вам деньги, купите килограмм сахарного песка. Кому из вас дать деньги?

— Я обычно забываю сдачу,— сказала Вера Соловьева.

— А я медленно считаю, и поэтому в очереди меня всегда ругают,— сказал Гена Симагин.

— А я когда разговариваю с чужими людьми, начинаю заикаться,— сказал Гога Бунятов.

— Это ерунда,— сказал я.— Не обращай внимания, просто не думай об этом, и все. Назначаю тебя старшим — вот деньги. Просто удивительно, до чего у вас много недостатков.

Потом я отправил ребят за врачом и за крупой.

Самыми первыми вернулись ребята, которые ходили в поликлинику. Они привели с собой врача. Это им удалось сделать так быстро, потому что они не знали существующих порядков по вызову врачей. Они не знали, что нужно записаться, а потом идти домой и ждать, когда врач придет.

Ребята сидели в поликлинике и ждали, когда же им дадут врача. Им объяснили, что они могут идти, а врач придет позже. А они сидели.

Потом к ним подошел старичок и сказал, что он врач, что он отработал свою смену, но с удовольствием пойдет с ребятами.

— Тише, — сказал врач. — Вы так галдите, что я не могу прослушать у больной сердце.

Скоро врач вышел от бабушки.

— Кто родственник больной? — спросил врач.

— Я родственник, — сказала Нина.

Врач посмотрел на Нину поверх очков. У него были седые лохматые брови ■ совсем лысая голова. Она блестела, точно отполированная.

— Ты? Ну, ■ кто-нибудь постарше здесь есть?

— Боря, — ответила Нина. — Наш вожатый.

Врач так же подозрительно посмотрел на меня.

— Ничего страшного, — сказал он, — маленькое обострение. Но лежать, категорически лежать. На вашу ответственность, товарищ вожатый.

— Понятно, — ответил я.

— Ну и прекрасно. Сейчас я выпишу лекарство. Вы пойдете в аптеку и получите его. Больной нельзя есть ни шпинат, ни томат, ни мясо. Не пить кофе и крепкий чай.

— А что же ей тогда можно? — спросил я.

— Знаете ли, все остальное: творог со сметаной, свежую рыбу, всякие каши. Очень вкусно, например, кашу по-гурьевски. Само собой, категорически запрещается употреблять алкоголь. Я имею в виду водку, вино и даже пиво. Курить — курить тоже нельзя.

После этого врач ушел. А я подумал, что за бабушкой придется ухаживать нам.

* * *

Сашка, между прочим, взялся за своих октябрят по-настоящему. Было совершенно ясно, что ему не дают покоя наши дела.

Прихожу в школу, Сашка подходит ко мне и небрежно так протягивает свернутый трубочкой лист бумаги:

— Прочитай.

Развернул бумажку и прочитал:

— «Второй «Б» вызывает на соревнование по учебе и чистоте второй «А».

Написано это было большими печатными буквами, а внизу стояли подписи Сашки Смолина и вожатых звездочек второго «Б».

Я посмотрел на Сашку и подумал, что он порядочная ехида. Вызывает, когда знает, что у него в классе ребята лучше учатся. Но вслух я сказал:

— Пожалуйста, мы принимаем вызов, и я уверен, что мы победим.

На следующий день мы рассказали все Наташе. Она согласилась, только заметила, что для полной картины необходимо еще, чтобы и сами вожатые включились в это соревнование. А то они так увлекутся, что забудут про свои уроки.

После этого я пошел к своим малышам. Что мне нравилось в них — так это то, что они за все брались горячо. Я им все сказал, и они твердо решили обогнать второй «Б».

— Можешь на меня надеяться, — сказал Толя Костиков. — Получу все четверки.

— И на меня тоже можешь надеяться, — сказал Гена Симагин.

— И на меня, и на меня!.. — закричали все.

— Только придется бороться со своими недостатками, — сказал я. — У нас ужас сколько недостатков! Одни любят поспать... — Я посмотрел на Нину. — Другие любят похвастаться... — Я посмотрел на Толю Костикова. — Третьи такие лентяи, что дома ничего не делают.

— А как же я буду бороться со своим недостатком? — спросил Гога Бунятов. — Я вот себе говорю: «Не буду заикаться», а потом волнуюсь и начинаю заикаться.

— Тебе, Гога, надо вырабатывать силу воли, — сказал я.

— И еще тебе надо петь, — сказала Нина. — Мне папа говорил, тебе надо петь.

— У нас соседи,— грустно сказал Гога.— Они будут ругаться.

— А ты приходи к нам. Моя бабушка любит, когда поют. Мы вместе с тобой будем петь.

— Хорошо,— сказал Гога.— Я попробую.

* * *

Как-то вечером я возвращался от Нины. Смотрю: идет Леонид Сергеевич — наш тренер по фигурному катанию. Мы с ним подружились с тех пор, как стали заниматься у него в кружке. А тут он посмотрел на меня и прошел мимо. Точно не узнал.

— Леонид Сергеевич! Леонид Сергеевич! — крикнул я.

Он остановился. Скучный такой. Мокрый снег облепил его шапку и воротник пальто. Он как-то даже ссутулился, совсем не был похож на себя.

— А! Энтузиаст! — сказал он.— Куда путь держишь?

Я держал путь домой, но ответил, что никуда не держу. Гуляю просто.

— И я просто гуляю,— обрадовался он.

«Ну,— подумал я,— кого-нибудь, может быть, ты и проведешь, но не меня. Я-то знаю, что в такую погоду так просто не гуляют».

Постояли. Помолчали.

— Леонид Сергеевич,— сказал я,— как вы думаете, выйдет толк из моих ребят? Хорошо было бы, если бы кто-нибудь из них стал знаменитым фигуристом.

Надо было о чем-то спросить его, хотя, в общем, это было некстати.

— Конечно, выйдет.— Леонид Сергеевич помялся.— Знаешь, энтузиаст, у меня идея. Завернем ко мне. Я здесь близко живу. Посидим, побалакаем.

Я, конечно, согласился.

У Леонида Сергеевича была отдельная однокомнатная

квартира. Там стояли шкафы, стол, стулья, ну, в общем, как во всех квартирах. Но мне в глаза бросился сразу большой шкаф. В этом шкафу стояли серебряные кубки, хрустальные вазы, висели большие круглые медали.

— Сейчас будем пить кофе, — сказал Леонид Сергеевич. — По-морскому — с солью. Отличный кофе. Ты пил когда-нибудь?

— Нет, не пил. — Тут я расхрабрился и спросил: — Что это вы, Леонид Сергеевич, на улице проскочили мимо меня?

— Думал, может быть, торопишься. Не хотел надоедать. Хуже всего, если другому надоедаешь. У него свои дела, а ты ему надоедаешь.

Потом мы пили кофе с солью. Действительно вкусно. Чего только моряки не придумают!

— Ваши кубки? — спросил я.

— Мои и моей жены, — ответил Леонид Сергеевич. — Еще довоенные. До войны мы с ней много призов брали в парном фигурном катании.

— А после войны перестали выступать?

— Жена погибла на фронте. Она была медицинской сестрой.

Когда он сказал про жену, я сразу замолчал. Неудобно так получилось, что я ему про это напомнил. А он, видно, совсем расстроился. Не знаешь никогда, что в таких случаях делать; как-то хочется помочь человеку, а что делать — неизвестно.

— Что же, вы так один и живете? — спросил я.

— Один, — ответил он. — Сын уехал в Сибирь.

— Ну, раз вы живете один, Леонид Сергеевич, то мы вас принимаем в свою октябрятскую компанию. Приготовьте фотокарточку — я вклею ее в свою тетрадь.

— Хорошо, энтузиаст. Я принимаю твое предложение.

По-моему, это было совсем неплохое предложение — мои малыши кого хочешь развеселят, но я-то видел, что настроение у Леонида Сергеевича ненамного улучшилось.

Дело в том, что я просидел долго у Леонида Сергеевича и не выучил историю. Сидел и дрожал, что меня вызовут и полетит в тартарары все наше соревнование с Сашкой. И вдруг перед самым уроком истории в наш класс приходит Александра Ивановна, учительница из второго «А», и говорит:

— Боря, я должна срочно уйти, а у нас сейчас контрольная по арифметике. Ты, пожалуйста, посиди на уроке и последи за дисциплиной.

— А как же история? — спросил я.

— Я уже договорилась с твоей учительницей.

Я побежал во второй класс. Ребята тихие-тихие. Они еще не привыкли к контрольным. Я сел на учительское место. Очень скоро я понял по лицу Нины, что дела у нее подвигаются плохо. Я прошелся между партами. Боже мой, почти у всех ребят в примерах была одна и та же ошибка. Я сел на место и стал усиленно теревить руки. «Ну вот, — подумал я. — Так все удачно сложилось, я ушел с истории, а теперь все пропало».

Честно говоря, я недолго страдал и колебался: я тут же решил на бумажке примеры контрольной и пустил ее по рядам. К звонку, когда вернулась Александра Ивановна, ребята уже закончили контрольную работу.

Я вернулся в свой класс и узнал, что Сашка схватил двойку по истории. Не знаю, почему уж это случилось, но он тоже не выучил историю. У него было такое расстроенное лицо, что я пожалел его и сказал:

— Хочешь, мы эту двойку не будем принимать во внимание?

— Зачем же, — гордо ответил Сашка. — Я ее исправлю.

А на следующий день над Сашкой разразилась настоящая катастрофа. Мой класс получил по контрольной пятерки и четверки, а его — несколько троек и даже двойку. Мы твердо выходили на первое место.

Сашка перестал хорохориться, у него был жалкий и несчастный вид. И, чтобы успокоить Сашку, я рассказал ему про контрольную.

— Так, так. Это просто подло, — сказал Сашка. Он даже покраснел. — Запрещенные приемчики. Да ты знаешь, что за это в честной спортивной борьбе навсегда лишают права выступать?

— Брось воспитывать, — сказал я. — Злишься, что проиграл?

— А еще друг, — сказал он. — А сам так поступаешь! — Сашка повернулся и ушел.

У меня испортилось настроение. Сашка даже не смотрел в мою сторону. Делает вид, что не замечает меня. Тогда я сам после уроков подошел к нему. Подошел и молчу. Что говорить, и так все ясно.

— Я все рассказал Наташе, — сказал он.

— Рассказал? — Я представил себе лица Наташи, Александры Ивановны, мамы, Иннокентия Иннокентьевича. — Что ты наделал? — закричал я. — Ты знаешь, сколько я людей подвел? Мне теперь хоть из дому уходи. Всех, всех я подвел. Вот если бы ты так поступил, я бы никогда не раздувал дело.

— Я бы тоже не раздувал, — сказал Сашка. — Но только вчера я дал себе слово поступать всегда честно и никогда не врать.

Все было кончено. У меня еще никогда не было такого несчастья, и я просто не знал, что делать.

— Иди к Наташе, — сказал Сашка.

— Я тебя ненавижу! — сказал я. — Ты все погубил. Все.

— Это очень плохо, что ты так поступил, — сказала Наташа. — Тебе все же нельзя было доверять воспитание детей. Ты слишком легкомысленный. Ну, в общем, от работы с октябрятами я тебя отстраняю, а твое поведение будем

разбирать на сборе отряда. Как бы у Александры Ивановны не было из-за тебя неприятностей на педсовете.

На следующий день надо было идти на занятия к Леониду Сергеевичу. Но я, конечно, не пошел. Сидел один дома, и все. Долго сидел, стемнело уже, а я сидел, не зажигая света. И вдруг звонок. Открыл дверь. А за дверями сам Леонид Сергеевич.

— Ну, здравствуй, энтузиаст,— сказал Леонид Сергеевич.— Что такой печальный?

Точно он не знает, что со мной случилось.

— Да так...— ответил я.

— Разговаривать не хочется?

— Нет.

— Понятно. Помолчим вместе. Вместе веселее.

Ну, сели и молчим. Молчали. Молчали. Только незаметно было, чтобы от этого мне стало веселее. Себя еще больше жалко, и Сашку почему-то жалко.

— А я тебе принес свою фотокарточку, чтобы ты ее вклеил в октябрятскую тетрадь.

Я махнул рукой: что, мол, теперь об этом говорить. Но фотографию все же взял. На фотографии стояли Леонид Сергеевич и какая-то женщина. Я сразу догадался, что это и есть его жена, которая погибла на фронте. Они снимались, видно, на катке после удачного выступления, потому что оба были в спортивных костюмах и лица у них были веселые.

— Не нашел другой веселой фотографии,— сказал Леонид Сергеевич.— А мрачную не хотелось давать. Объясни это, пожалуйста, ребятам. А потом, я сейчас живу один в двух лицах: за нее и за себя. Она бы очень подошла к твоим ребятам.

В это время кто-то зазвонил в дверь. Я побежал открывать.

На пороге стояла Наташа. Как она быстро прибежала! То ни разу не была, а тут прилетела.

— Мамы нет дома,— сказал я.— Рано пришли.

Хотелось хлопнуть дверью перед ее носом. Но в коридор вышел Леонид Сергеевич.

— В чем дело? — спросил он.

Хоть я был сильно расстроен, но все же заметил, что появление Леонида Сергеевича произвело впечатление на Наташу.

— Мне надо поговорить с Бориной мамой. Я из школы.

— Мы и без мамы все обсудим. Раздевайтесь, входите.

Леонид Сергеевич, как настоящий кавалер, помог Наташе снять пальто. Наташа даже покраснела. Это, конечно, произошло у нее первый раз в жизни. В общем, пока они соревновались в вежливости, я преспокойно стоял в стороне. Внутри у меня все переворачивалось от тоски, а я стоял себе и наблюдал, как они друг перед другом хорохорились. Никто бы на свете не догадался, как мне сейчас плохо. Что-что, а выдержки у меня хватало всегда. Леонид Сергеевич пригласил Наташу в нашу комнату, а я пошел к Ольге Андреевне.

Никто не виноват, что в нашем доме такие тонкие перегородки между комнатами и все слышно.

— Вы понимаете, — сказала Наташа, — ему доверили малышкой, а он так поступил... Сам врун и их учит обманывать. Это ужасно!

Она изобразила меня просто негодяем. И самое страшное, что это правда. Сашку обманул, ребят подвел. Никому ведь не объяснишь, что я просто увлекся и все забыл.

— Печальная история, — ответил Леонид Сергеевич. — Не подумал он, ну и сделал глупость. А парень он хороший. Октябрят своих любит. Все что-то придумывает для них. Они к нему даже домой бегают.

— Это правда — они к нему привязались, — сказала Наташа. — Но нельзя же так поступать. Он на них дурно влияет. А если он их, к примеру, толкнет на воровство? Здесь налицо просто спайка.

После этого они оба замолчали. Я ждал, что Леонид Сергеевич ей на это ответит, но он молчал.



Неужели поверил, что я могу толкнуть малышей на воровство?

— Зря вы так. Разве можно подумать такое про Борьку. Фантазия у него добрая, человеческая. А если он из своих октябрят таких же фантазеров ■ мечтателей сделает, это же чудно! Зависти нет, безразличия нет. Он, вы знаете, когда играет в шахматы, всегда поет.

— Доброта—это формальное качество,— сказала Наташа.— Капиталисты тоже добренькими бывают. На доброте коммунизм не построишь.

Это уже было просто оскорбление. Если бы кто-нибудь такое сказал про Леонида Сергеевича, я бы его в два счета выгнал. А он возьми и скажи:

— Наташа, интересно, что вы будете делать после школы?

Когда я услышал его вопрос, не поверил своим ушам. Он просто перевел разговор на другую тему.

— Не знаю, — ответила Наташа.

— Советую вам: поезжайте в Сибирь. У меня там сынишка работает.

Он ей еще предлагал поехать в Сибирь! Быстро они договорились. Меня он не зовет ■ Сибирь, а ее: поезжайте к моему сыну, пожалуйста. Вот, мол, адресок. Пошлите только телеграммку, а он вас там встретит... Противно стало слушать, что они там дальше говорили.

Включил радио на полную мощность и стал прыгать и корчить рожи перед зеркалом. Пусть думают, что танцую. Быстро они спелись, я даже не ожидал.

Наконец Леонид Сергеевич постучал мне кулаком в стену. Я сначала не хотел к нему идти, а потом все же пошел.

— Ушла? — сказал я, хотя отлично слышал, как она уходила, и даже видел в замочную скважину, как он ей подавал пальто.

— Ушла. Неплохая девушка, но... — Он помахал в воздухе рукой. — Я ее в Сибирь пригласил. Там ребята ее быстро уму-разуму научат.

— Понятно.

— А с тобой все в порядке. Конечно, разберут тебя на сборе, как полагается. А матери можно об этом пока не докладывать. А то знаешь — женщины... Паника. Отцу напишет, и так далее.

Это уже было неплохо, но я даже глазом не моргнул. Пусть не думает, что я собираюсь рассыпаться в благодарностях. Вообще ненавижу, когда благодарят.

— Ну, пойду, — сказал Леонид Сергеевич. И ушел.

* * *

Прошло несколько дней. На сборе отряда меня еще не разбирали. Но ребята из второго «А» по-прежнему прибегали ко мне. Я не ходил к ним, а они бегали ко мне чаще, чем

раньше. Каждую перемену несколько человек. И все разные. Точно они дежурство установили за моей персоной.

Только теперь ■ нашем классе никто надо мной не смеялся. Я даже думаю, что некоторые из наших завидовали, что малыши ко мне так привязались.

А тут после уроков ко мне ворвались Толя Костиков и Гена Симагин и сказали, что Нину увезли в больницу.

У меня прямо похолодело все внутри.

— У нее заболел живот, и ее увезли, — сказал Костиков. — «Скорая» приезжала. «ЗИЛ-110».

Я побежал в учительскую к Александре Ивановне. Я бежал так быстро, что Костиков и Симагин отстали от меня. Когда я вышел из учительской, весь второй «А» стоял около дверей.

— У нее аппендицит. Будут делать операцию, — сказал я.

Мы пошли всем классом в больницу. Всем ребятам хотелось узнать, как Нина. Но мы ничего не узнали — операция еще не закончилась.

— Часа через два я снова пойду в больницу, — сказал я ребятам. — Кто хочет, может пойти со мной.

Дома я позвонил Нининой бабушке и соврал ей, что Нина задержалась в школе. Не мог же я сказать, что Нине вот сейчас делают операцию.

Когда через два часа я вышел на улицу, то у подъезда меня ждал весь класс. Даже Зина пришла.

— У матерей отпросились? — спросил я.

Они закивали головами.

— Мне мама сказала, — ответил Гена Симагин, — чтобы я не приходил домой до тех пор, пока все благополучно не кончится.

— А моя мама сказала, что сейчас аппендицит не опасная операция, — сказал Гога Бунятов.

— «Не опасная»? — возмутился Толя Костиков. — Живот разрезают, думаешь, не больно?

Все сразу замолчали.

Ребята остались во дворе больницы, а я пошел в приемный покой.

Оказывается, мы пришли не в приемные часы, и узнать что-нибудь было не так просто. Какая-то женщина пообещала узнать, ушла и пропала.

Потом появился мужчина в белом халате, в белом колпаке. Вид у него был усталый. Он стал снимать халат, и к нему вышла женщина из гардеробной, чтобы помочь. Может быть, это был хирург и он сегодня сделал какую-нибудь сложную операцию и спас жизнь человеку.

— Что вы ждете, молодой человек? — спросил он меня.

— Здесь девочке одной делали операцию. Пришел узнать.

— А вы ее брат?

— Вожатый я.

— А, значит, служебная необходимость. Понятно.

— Нет, я так просто, — сказал я. — Да я не один. Я показал ему на окно. Там, во дворе, на скамейке сидели мои малыши.

Они сжались в комочки и болтали ногами. Издали они были похожи на воробьев, усевшихся на проводах.

— Весь класс, что ли? — удивился хирург.

Я кивнул головой.

— Как зовут девочку?

— Нина Морозова. Маленькая такая, с косичками.

— Подожди, — сказал хирург.

Он снова надел халат и пошел наверх.

А я разволновался до ужаса. Я, когда волнуюсь, зеваю и не могу сидеть на одном месте: хожу и хожу.

Ругал себя на чем свет стоит за то, что не запретил Нине ездить на пузе по перилам лестницы. Ведь все из-за этого и получилось. Она съехала на пузе и не смогла разогнуться. Ее прямо в больницу.

Я знал, что Нина любила так ездить, и не ругал ее. Ругать ее было глупо. Я сам так катаюсь. А у меня железное

правило — никогда не ругать малышей за то, что я сам не прочь сделать. Сначала сам избавься, а потом других грызи. А теперь я себя во всем винил.

Хирурга все не было. На улице потемнело.

Наконец он появился:

— Можете спокойно отправляться спать: ваша подружка хорошо перенесла операцию. Завтра приходите и приносите ей апельсины.

Ух как я обрадовался! От радости чуть не расплакался. До чего мне дорога была эта маленькая девочка.

Доктор посмотрел на меня и сказал:

— Что-то у меня сегодня хорошее настроение. От души рад с вами познакомиться.

«Чудак какой-то в белом колпаке», — подумал я. Но времени у меня не было с ним разговаривать.

Я выскочил во двор, чтобы обрадовать малышей. Они повскакали со своих мест. И я им все рассказал.

— Она во время операции даже ни разу не крикнула, — сказал я.

Хирург мне этого не говорил, но я-то знал, что это было так.

— Вот это да! — сказал Гена. — Сила!

Остальные ничего не сказали. Не знаю, о чем они там думали про себя, но только мне нравилось, что мои малыши такие сдержанные.

Было уже поздно. Шел мелкий дождь. Такая зима стояла. Асфальт был черный, и небо черное. И нам казалось, что мы идем одни в этой темноте. Но, когда проехала машина, я увидел, что мы были не одни. Просто асфальт своей чернотой прятал людей.

И во многих окнах горел свет: может, там сидели бабушки и дедушки, папы и мамы моих малышей. Они ждали и волновались о Нине.

Нет, мы были не одни.



ПУТЕШЕСТВЕННИК С БАГАЖОМ

1

В наш совхоз прислали одну путевку в Артек. И вдруг ее преподнесли мне. Для многих это было полной неожиданностью. Правда, слово «преподнесли» не совсем точно передает события, которые произошли из-за этого. Честно говоря, путевку мне дали с боем: Нина Семеновна, наша старшая вожатая, считала, что я ее не заслужил.

Она так и сказала: «Я считаю, что ты эту путевку не заслужил, а «некоторые» думают, что ты ее заслужил. Посмотрим, посмотрим...»

Не знаю, кого она засекретила под «некоторыми», но я-то уверен, что они абсолютно правы. Кто же тогда ее заслужил, если не я, скажите мне, пожалуйста? Во-первых,

я самый «старый» целинник во всей школе. Я приехал в совхоз, когда вместо всех этих домов стояли какие-нибудь три-четыре палатки.

Ух и поработали мы тогда, хотя нам было нелегко, особенно зимой! Осенью палатки насквозь продувались ветрами, а зимой их заносило снегом до самой макушки.

Да, да. Мне тогда было три года и пять месяцев, но я все отлично помню, точно это случилось вчера. Такие вещи не забываются.

Ну, а во-вторых, я... в общем, самое главное — это во-первых!

Итак, я еду в Артек. По дороге домой, когда от радости, что я уезжаю, меня просто распирало, я встретил директора совхоза Николая Павловича Шерстнева. Между прочим, он тоже живет в совхозе с первых палаток.

Мы поздоровались, пожали друг другу руки. У Николая Павловича привычка с каждым встречным перекинуться словом, если есть свободная минута.

— Ну, как дела, Сева? — спросил он.

Сами по себе эти слова ничего не значили. Люди ведь часто встречаются и говорят: «Как дела?» А ответ их совсем не интересует. Из вежливости они спрашивают про дела, что ли? А у Шерстнева это было совсем по-другому, он действительно хотел узнать, как мои дела.

— Неплохо, — ответил я. Неудобно было сразу выкладывать свою новость. У него впереди самая горячая работа: сенокос, подготовка к уборочной, а я еду отдыхать. Потом не выдержал и добавил: — Дали путевку в Артек, не знаю, отказаться или нет? Сейчас из совхоза ни один человек не уезжает в отпуск, а я вдруг уеду.

— Не страшно, — сказал Шерстнев. — В этом году мы справимся. А тебе надо, брат, подлечить свой тонзиллит. Будешь там горло полоскать морской водой и поправишься. Ну, бывай здоров!

— До свидания! — сказал я.

— Между прочим, держись в Артеке солидно, не подводи совхоз. Сам понимаешь, там ребята со всего Советского Союза и даже из-за границы, и если ты что-нибудь откомаришь, представляешь, какой шум пойдет?

— Понимаю.— Было ясно, что он к чему-то клонит.

— Соберутся, например, пионеры на сбор,— продолжал он,— будут петь, танцевать, а ты вдруг замяукаешь по-кошачьи. Международный скандал.

— Это я ради матери придумал, вы же знаете,— ответил я.— Она не выносит, когда врут. А меня иногда так занесет... И тогда, чтобы остановиться, я начинаю мяукать.

— Прогрессивный метод,— сказал Шерстнев.— Ну, а удоу почему ты подражаешь?

— Господи, вот уж Нина Семеновна! — возмутился я.— И это она рассказала. Просто я изучаю птичьи голоса. Задумался на уроке и закричал, как удо. Несчастный случай.

По-моему, я здорово выкрутился, хотя никакие птичьи голоса я не изучал. Поспорил с ребятами, что закричу на уроке удоом, и закричал. Я хозяин своего слова.

— Ясно,— сказал Шерстнев.— Только постарайся без несчастных случаев.

— Конечно,— ответил я.— А Нина Семеновна обиделась на меня. Она вообще обидчивая. Я у нее прощения просил — не прощает.

— А за что она так на тебя? — спросил Шерстнев.

Я промолчал, не хотелось про это рассказывать, но он упрямо ждал и подозрительно поглядывал на меня.

— Ничего особенного,— сказал я.— Я ее прозвал «Богиня Саваофа».

— Как, как? — переспросил Шерстнев.

— Ну, в общем, верующие придумали себе бога Саваофа. Он у них один в трех лицах: бог-отец, бог-сын и бог — святой дух. А Нина Семеновна тоже одна в трех лицах: старшая вожатая — раз, учительница — два, главный редактор — три. Ну, я и прозвал ее «Богиня Саваофа». Я ей говорю: «Про-

стите, Нина Семеновна, не знаю, как у меня такое с языка сорвалось», — а она голову отворачивает. Даже разговаривать на эту тему не желает.

— Строгая у вас Нина Семеновна, — сказал Шерстнев.

— Строгая, — ответил я. — И ужас до чего обидчива.

С этим мы и разошлись. Шерстнев пошел в свою сторону, а я в свою.

Потом я оглянулся. Сам не знаю почему, потянуло меня оглянуться. У него была широкая, сутулая спина и длинные руки. Тут он тоже оглянулся. Обычно когда люди оглядываются одновременно, то они чувствуют себя неловко и сразу отворачиваются. А Николай Павлович и не подумал отворачиваться.

2

На сборе отряда, когда мне давали рекомендацию в Артек, меня изрядно пощипали: и ленивый, и разболтанный, и иронически относится к девочкам.

Надо же, какое слово придумали: «иронически». Так оскорбить человека только за то, что он одну девчонку назвал дохлой принцессой. И самое главное, что против слова «принцесса» никто не возражал. Их, видите ли, возмутило определение «дохлая».

Тут я решил вставить слово, надо было защищаться.

— Но ведь сейчас живых принцесс в Советском Союзе нет, — сказал я. — Это шутка, литературный образ.

Все мальчишки засмеялись, девчонки возмущенно зашикали, а «Богиня Саваофа» сказала:

— Ты грубиян, Щеглов, но мы на тебя не обижаемся. Просто ты не понимаешь душевной тонкости человеческой натуры. О-чень, о-чень жаль.

Когда она произносила эти слова, то так выговаривала каждую букву, словно хотела, чтобы ее «о-чень, о-чень жаль» перевоспитали меня в одно мгновение, чтобы я, как Ивануш-

ка-дурачок после купания в кипящем котле, сразу преобразился и сказал: «Дорогая Нина Семеновна, я больше никогда, никогда не буду вас огорчать, и вообще я никого не буду огорчать, я стану первым земным ангелом».

Наступила минута напряженного молчания. Бывают такие напряженные минуты, когда все решается. Вот и сейчас наступила такая минута, и ребята задумались, стоит ли меня посылать в Артек.

«Так, так,— подумал я.— А кто лучше всех прочел лекцию о международном положении, это они забыли? Забыли, как я им рассказал, что было время, когда пустыня Сахара была плодородной долиной? Они сначала смеялись. А я им сказал: смейтесь, смейтесь, только ученые нашли там на скалах рисунки древних людей, которые жили в Сахаре. Например, рисунок «Великий марсианский бог». Представляете, не просто какой-то обыкновенный бог, а «марсианский», потому что он нарисован в скафандре. Ну, вроде как наши космонавты. И, может быть, это совсем не бог, которого придумали жители Сахары, а марсианский космонавт. Может быть, он спустился к ним на корабле, а они по своей отсталости приняли его за бога и нарисовали на скале. Тут ребята прямо закачались от неожиданности. А потом три дня только и разговаривали про марсианского космонавта. Правда, какой-то скептик заметил, что все это не имеет ни малейшего отношения к международному положению, что моя лекция не по правилам. А я ответил, что не люблю по правилам.

А разве не я работал на огородах в совхозе, четыре часа ползал на четвереньках среди этих проклятых полосатых огурцов? Причем добровольно! Хотя я самый отчаянный враг ручной работы».

А теперь об этом никто не вспоминал. Все сидели и молчали. Ну, ну, чего же вы молчите? Откажите мне в путевке, раз вы решили, что я плохой человек. Откажите, если вы думаете, что я вам даю прозвища по злобе. А вы знаете, как я сам себя прозвал? «Трусливый заяц» и «Барон Мюнхау-

зен». Эти прозвища пообиднее, чем у вас. А они молчали. Нужно было что-то сказать, заплакать или ударить себя кулаком в грудь и дать честное слово, что я теперь буду хорошим. Ради Артека необходимо было это сделать, и потом, мне обязательно надо было попасть в Москву по личному делу.

— Раз так,— сказал я,— можете не посылать меня в Артек.

Несколько ребят подняли руки, чтобы выступить, но «Богиня Саваофа» никому не дала слова.

— Я думаю, что теперь Щеглов сможет критически оценить свое поведение.— Она улыбнулась.— А мы дадим ему рекомендацию.

— Правильно, правильно! — закричали ребята.— Дадим ему рекомендацию.

А когда мне написали рекомендацию, то там оказалось все наоборот. Черным по белому было написано, что я дисциплинированный, находчивый пионер, добрый товарищ, прилежный ученик.

Я тогда говорю «Богине Саваофе»: чему же верить? То ли тому, что она говорила на сборе, то ли тому, что написано в рекомендации? А она отвечает: и там и там есть немного правды.

— А почему немного? — спросил я.— Говорили, на полуправде в коммунизм не въедешь, а сами...

Она вдруг разозлилась и сказала:

— Слушай, не морочь мне голову, сам прекрасно знаешь все про себя!..

Действительно, это было так. Про себя я все прекрасно знал. Только непонятно, зачем нужно было обсуждать меня на сборе и писать наоборот, если про меня все ясно.

Помолчали. Я не хотел с ней заводитьсь, но никак не выходили из головы ее слова, что у меня нет сердечной теплоты к людям. Это меня мучило, и все. Неужели она так на самом деле думает?

— Нина Семеновна, — выдавил наконец я. Не так легко это было спросить. — Нина Семеновна...

— Слушай, Щеглов, — перебила она, — шел бы ты домой. Мешаешь мне работать.

Боже мой, какая работа! Она писала заметки для стенгазеты. Она писала все заметки сама, а потом ребята их переписывали.

Однажды она привлекла к этой важной работе и меня: поручила нарисовать цветными карандашами заголовки. А я взял и разрисовал все заметки. Когда она увидела, что я наделал, ей дурно стало. Она закричала, что это продуманный враждебный политический акт, что я нарочно сорвал выпуск стенной газеты.

Теперь она меня к газете близко не подпускала.

— Нина Семеновна, — я все же решил довести разговор до конца, — вы тогда на сборе серьезно сказали, что я бездушный человек или, может быть, пошутили? Просто меня воспитывали?

— Разумеется, серьезно.

Ох, до чего она была деревянный человек, прямо мокрая деревяшка, ударишься об нее — и никакого отзвука! Она выводила большими буквами заголовков на газете: «Стенная печать — сильнейшее критическое оружие!»

— И ребята так про меня думают? — спросил я.

— Разумеется, — ответила она.

Мне захотелось сказать ей что-нибудь обидное, но я ничего не мог придумать. И тогда я издал такой клич удода, что ни одному настоящему удоду он и не снился никогда. «Богиня Саваофа» подскочила на стуле.

— Хулиганство! — сказала она. — Безотцовщина!..

Нина Семеновна прямо так и крикнула мне в лицо: «Безотцовщина!»

А я ничего ей не ответил и выскочил из комнаты. С улицы я заглянул в окно. «Богиня Саваофа» сидела в той же позе, писала заметки: наводила на всех критику. Я затара-



банил по стеклу. Она посмотрела на меня и сделала страшное лицо: поджала губы и прищурила глаза. Но мне теперь было все равно, меня ничего не пугало: ни ее поджатые губы, ни прищуренные глаза. Я мог сам поджать губы и прищурить глаза.

Тогда она наконец оставила свои заметки, медленно подошла к окну и открыла его.

— А про ребят вы сказали неправду! — крикнул я. — Вы соврали!

— Что, что? — сказала она. Притворилась глухой или на самом деле не расслышала моих слов.

— Меня ребята уважают! — крикнул я. — Уважают, а вы, вы... вредная!

Я изо всех сил толкнул раму, и вдруг из рамы выскочило стекло. Оно ударило меня по голове и разбилось. Я повернулся и побежал.

— Щеглов, Щеглов! — закричала «Богиня Саваофа». — Сейчас же вернись! Я тебе приказываю, вернись! Но я не стал возвращаться.

3

У меня нет отца. Это мое слабое место. Вернее, у меня есть отец, только он живет в Москве. Именно поэтому «Богиня Саваофа» крикнула мне «безотцовщина»: мол, ничего хорошего не получается, когда отец живет так далеко от сына. Действительно, ничего хорошего, если он в Москве, а я тут, в совхозе. Отсюда не закричишь: «Папа!» — и не позовешь его на помощь.

Но разве можно бить человека по его слабому месту, как это сделала «Богиня Саваофа»?..

Когда-то мы все трое жили в Москве, а потом мать окончила институт, и мы приехали на целину. Мать стала работать в совхозе зоотехником, а отец — шофером. А потом он уехал обратно в Москву.

Дома мы об отце никогда не разговариваем. Года два назад поговорили и с тех пор молчим. Мы тогда в школе писали сочинение о родителях. А потом оказалось, что все ребята написали сочинения об отцах, а я — о матери. Учительница меня тогда даже похвалила. «Молодец, — говорит, — Щеглов, что написал о матери. А вы все, ребята, неправы. Ваши матери вместе с отцами трудятся в совхозе: и дома ставят, и на фермах работают, и в поле, а вы о них ни слова».

В общем, хотела она меня похвалить, а получилось наоборот: у меня от ее похвалы испортилось настроение. Я вдруг подумал, что во всем нашем классе у меня одного нет отца.

В этот день я пришел домой и спросил у матери о нем.
— Многие родители, — сказала она, — скрывают от детей правду. А я тебе все скажу. Он был хвастун. Наобещает и ничего не сделает.

Мы сидели за столом. Я готовил уроки, а она штопала рукав моей рубашки: вечно они у меня на локтях протираются. Оба мы делали вид, что ведем совсем обыкновенный разговор.

— Я его стыдила, ругала, просила. Он обещал исправиться и не исправлялся. Однажды перед ним даже на колени встала...

Я представил мать на коленях перед ним. Это было непонятно. Чего только взрослые не придумают!

— А тут произошел такой случай: зимой это было. Из района нам передали, чтобы прислали людей за витаминами для скота. Послали на тракторе с санями его и еще одного тракториста. Назначили его старшим, потому что он знал дорогу в райцентр и ходил на тракторах туда по снегу. Прошло три дня — их нет. Подождали еще три дня — опять нет. Никто не знает, что случилось. Может быть, они в дороге замерзли, а может быть, у них трактор сломался. Им навстречу ушли Шерстнев и механик с автобазы. Знаешь, тот самый, что разводит в пруду рыб.

— Знаю, — ответил я. Точно это было очень важно, знаю я или не знаю этого механика. Его фамилия Зябликов. Совхоз ему не дал денег на этих рыб, так он на свою зарплату их покупает.

— На лыжах ушли. А до райцентра сорок километров. А в степи, если метель, темнота. Вот они и шли в этой темноте, померзли, пока дошли до райцентра. Шерстнева после этого в больницу положили и на правой ноге пальцы отняли. Отморозил.

Она замолчала, и я молчу. Ждал, что она скажет еще про отца, а сам делал вид, что увлекся уроками.

— Собрала его вещи и говорю: поезжай куда хочешь,

а когда станешь человеком, возвращайся. И он уехал... Ты представляешь, что он придумал: в райцентр должны были приехать цирковые артисты, так он решил их дожидаться. И еще говорит, что мы скучные люди, а он поэтическая натура.

— Он ведь не знал, что Шерстнев пойдет его искать и отморозит пальцы, — сказал я.

— Когда ты станешь взрослым, — сказала мать, — ты поймешь, что нельзя все прощать.

Я промолчал. По-моему, мать зря его отправила из дома. Может быть, постепенно он бы исправился. Я бы с ним на рыбалку ходил, на машине вместе ездили. Я бы его обязательно перевоспитал.

Многие говорят: подумаешь, нет отца, мол, не беда, есть мать, и так далее. Конечно, человек может привыкнуть к чему угодно, а я все равно думаю об отце. Вот только лягу в постель, закрою глаза, и сразу он появляется передо мной.

Разные истории для него придумываю. То он вернулся в совхоз со Звездой Героя, и сам Шерстнев у него прощения просит, что плохо о нем думал. То он долго не возвращается, потому что его тайно тренируют в космонавты. То придумаю, что он уехал на Кубу помогать кубинцам осваивать наши, советские, автомобили.

В общем, придумываю разные истории, хотя знаю, что все это чепуха. Тогда я начинаю мяукать, один раз даже мать ночью своим мяуканьем разбудил, и она решила, что какая-то чужая кошка забралась к нам. Зажгла свет и начала ее искать. А я притворился, что сплю. И снова, после того как она погасила свет, мне в голову полезли всякие истории про него...

У меня сильно заболел палец, на нем была кровь. Видно, я порезался, когда разбил стекло.

Я вспомнил «Богиню Саваофу», вспомнил ее поджатые губы и прищуренные глаза. Представил себе, как она влете-

да сейчас в кабинет директора школы, точно ею выстрелил из лука сам Робин Гуд, и рассказала все обо мне. А он тут же схватился звонить матери, ■ мать после этого вернется домой и будет стирать до полуночи белье. Она меня никогда не ругает, а только стирает и стирает белье, хочет, чтобы у нее от работы и усталости прошла обида на меня.

А мне-то каково? Один раз я тоже решил принять участие в стирке, решил поднести ей ведро с горячей водой. Так она мне такой подзатыльник подарила, как будто через меня пропустили настоящий электрический заряд.

С тех пор я больше не пристаиваюсь к ее стирке.

4

Когда я пришел домой, то оказалось, что мать уехала на дальние пастбища и должна вернуться через два дня.

У меня сразу улучшилось настроение. Обмотал бинтом потолще палец, для солидности, и принялся размышлять.

Два дня — это большой срок, за два дня что хочешь можно сделать. Пойти, например, к «Богине Саваофе» и извиниться перед ней. От извинения язык не отвалится. Можно сказать: «Нина Семеновна, я больше никогда не буду хулиганить». Можно ударить себя в грудь и потереть нос кулаком, точно я хочу заплакать. Она любит, когда перед ней так извиваются.

С этим я и лег спать. Но вечером у меня всегда одно настроение, а утром другое. Так случилось и на этот раз.

Я проснулся и подумал: а почему, собственно, я должен извиняться? Она меня оскорбила, и я же должен извиняться. Только потому, что она старшая вожатая, главный редактор стенной газеты и учительница, а я просто ученик?! А как же тогда справедливость?

Все говорят: справедливость прежде всего. Говорят: воспитывайте в себе человеческую гордость. А на деле: я ни в чем не виноват, и я же должен страдать, унижаться. Когда

мать не пускает меня стирать белье, это я понимаю, а тут что-то не так.

В школе на первой перемене меня вызвали к директору.

Видно, «Богине Саваофе» не терпелось меня наказать, и поэтому меня вызвали тут же.

Ну что ж, это тоже неплохо. А то надоело, что ребята поздравляют с путевкой в Артек. После того как я выйду от директора, сразу все узнают, что я никуда не еду, и перестанут меня поздравлять.

Печальные новости распространяются со скоростью звука — триста тридцать метров в секунду. Они прямо летают по воздуху между людьми.

Зашел к директору, поздоровался по всем правилам. Жду. А он сидит за столом и что-то читает.

Директор в нашей школе какой-то ненастоящий, он никак не может запомнить фамилии ребят. Вечно нас путает. Про него говорили, что он очень долго был большим начальником и оторвался от народа. И поэтому его послали на живую работу, то есть в нашу школу.

— А, пришел, герой, — сказал директор. — Подойди поближе. Так. Сейчас заполним путевку.

Вот это была неожиданность: выходит, «Богиня Саваофа» ничего ему не сказала.

Он вытащил путевку и спросил:

— Фамилия?

— Щеглов, — ответил я.

— Напишем — Щеглов, — сказал директор. — Имя?

— Севка, — ответил я.

— Напишем — Всеволод, — сказал директор. — Севка — звучит не солидно. И поедет Всеволод Щеглов в Артек.

Он был уже старый, наш директор, и, вероятно, ему было трудно с нами. По-моему, он не знал, что нам нужно говорить. Не умел так ловко и гладко говорить, как другие учителя.

— Ты там, в Артеке, сразу включайся в пионерскую работу,— сказал он.— Стихи умеешь читать?

— Нет.

— Плохо. Надо научиться. Выучи, например, стихи о советском паспорте В. Маяковского.

Мы помолчали.

— На, держи, счастливый Щеглов.— Он это сказал как-то печально, словно завидовал мне, и протянул путевку.

— Спасибо,— ответил я. Помялся, постоял, мне почему-то стало его жалко, и я спросил, чтобы поддержать разговор: — А что это такое, когда говорят: «Он оторвался от народа»?

Директор вскинул глаза. Вдруг они у него блеснули, точно он разозлился. Он у нас целый год, этот директор, раз сто приходил к нам в класс, но я ни разу не видел, чтобы у него блестели глаза.

— Когда так говорят про кого-нибудь,— сказал он,— это плохо, очень плохо, и сразу даже не объяснишь, ■ чем тут дело. Ну, в общем, так можно сказать про человека, который никак не может запомнить фамилии людей, которые работают и живут вместе с ним. Ясно?

— Ясно,— ответил я.

И тут вошла «Богиня Саваофа». Она сразу увидела, что я держу в руке путевку в Артек.

— Вручили? — спросила она.

— Вручили,— ответил директор.— Иди, Щеглов.

Я повернулся и медленно пошел. Чувствовал, что они провожают меня взглядами. Вот сейчас «Богиня Саваофа» ему все скажет, и тогда наступит ее торжество, и у меня отнимут путевку.

Дошел до двери, секунду помедлил: ну, окликайте меня, теперь уже самое время меня остановить. Но они молчали.

Не успел я отойти и двух шагов от канцелярии, как «Богиня Саваофа» догнала меня. Я нарочно поднял забинтованный палец: пусть видит, что я пострадал.

— Помни, Щеглов, — сказала она, — за тебя поручился сам Шерстнев. Смотри не подведи его.

Все было ясно — почему мне рекомендацию хорошую дали и почему «Богиня Саваофа» не пожаловалась директору школы на вчерашнюю историю. Просто «некоторые» в лице Шерстнева заступились за меня.

— Не беспокойтесь, — ответил я, — Шерстнева я не подведу.

Я подумал, что наш директор все же меньше оторван от народа, чем «Богиня Саваофа», хотя она любого ученика в школе знает не только по фамилии, имени и отчеству, но и по голосу.

— Отдыхай, Щеглов, хорошо, — сказала она.

— Спасибо. — Разговор у нас был очень вежливый, точно не она вчера крикнула мне «безотцовщина» ■ не я разбил оконное стекло.

— Ах, когда же у тебя в голове все уложится по полочкам! — сказала «Богиня Саваофа».

Я почему-то вспомнил библиотеку и ряды аккуратных полок, уставленных книгами. А потом я представил, что у меня в голове точно такие же аккуратные полки, но вместо книг на них лежат бумажки со словами: «Это опасно», «Это не положено», «Это нужно». Мне захотелось затрясти головой, чтобы эти полки на самом деле не выстроились в моей голове. А здорово было бы, если бы «Богиня Саваофа» сейчас затрясла головой и ее «полки» рассыпались бы навсегда. У нее-то они крепко сидят. А еще лучше было бы, если на людей, у кого в голове все разложено по полкам, налетела трясучка, как ураган, и все полочки у них бы рассыпались.

— Не знаю, — сказал я и слегка тряхнул на всякий случай головой. Ради предосторожности.

Она тяжело вздохнула, и я тяжело вздохнул.

Пора было расходиться, раз она не напоминала о вчерашнем. Но она как-то странно вела себя, какую-то бумажку комкала в руке, волновалась, что ли.

— Ты меня прости за вчерашнее, — сказала она.

Я прямо чуть не упал от ее слов.

Вот до чего дожил — сама «Богиня Саваофа» просит у меня извинения. Неизвестно, что было отвечать, на всякий случай спрятал ладонь с обвязанным пальцем за спину. А то этот палец у нее торчал перед глазами.

— Ерунда, — сказал я.

Она улыбнулась, честное слово, она улыбнулась мне и вроде даже махнула рукой. Ну совсем как будто мы хорошие друзья. Вот и пойми тут людей! Я ей тоже улыбнулся и пошел по школьному коридору.

Я шел школьным коридором и помахивал путевкой в Артек. По всей школе над головами ребят летела новость, что я, Севка Щеглов, получил наконец долгожданную путевку.

Оказывается, и хорошая новость распространяется быстро, значительно быстрее, чем плохая. Я думаю, что она распространяется со скоростью света — триста тысяч километров в секунду.

5

В город и поездку меня провожала мать. Я не хотел, чтобы она меня провожала: в конце концов, я не маленький. Представьте, была бы картина: приходим мы на вокзал к поезду, все ребята одни, только я при матери.

Но этого не случилось: родителей на вокзале было ровно в пять раз больше, чем детей.

— У тебя какие-то странные глаза, — сказала мать. — Горят, как фонари. Ты увидел ребят и не слушаешь меня.

— Обыкновенные глаза, — ответил я. И несколько раз мигнул, чтобы они потухли.

Дело в том, что я думал совсем не о ребятах, а об отце. Думал про то, как приеду в Москву и встречу с ним. Я испугался и начал смотреть по сторонам, чтобы мать не перехватила мой взгляд. Она по глазам отгадает мои мысли.

Это у нее есть, она так изучила меня, что иногда совершенно точно отгадывает мои мысли.

— Всеволод, — снова сказала мать, — сконцентрируй свое внимание.

— Сконцентрировал, — ответил я.

Но тут мы попали в водоворот толпы, и мать сама расконцентрировалась.

Все ребята говорили одновременно, орали вовсю, и ничего нельзя было понять. А родители были ничуть не лучше своих детей: каждый старался перекричать другого, чтобы сказать последнее слово сыну или дочери.

Я просто очумел, и когда дали команду прощаться, то поцеловал чужую женщину. Она в последний момент бросилась между мной и матерью. Потом мать все же прорвалась ко мне и крикнула в ухо:

— Прошу тебя, не делай глупостей!

Не знаю, что она подразумевала под этим, но я твердо ответил:

— Не волнуйся!

Наконец эта страшная толчая окончилась: нас усадили в поезд, а родителей оставили на перроне. Все ребята, как вошли в вагон, сразу бросились к открытым окнам, и я тоже устроился у окна. Рядом со мной стоял какой-то странный парень. Волосы белые, и глаза совсем светлые, а кожа темная, точно он долго-долго загорал. Прямо шоколадная кожа.

— Можно подумать, что мы едем в голодную Южную Африку, а не в Артек, — сказал этот «шоколадный». Он кивнул на самых настойчивых родителей, которые прыгали под окнами вагона и совали своим детям разные бутылки, пирожки и кульки.

У одного мужчины сверток с едой выскочил из рук, и по перрону рассыпались пирожное, пять конфет «Ну-ка, отними!» и два больших желтых апельсина. А люди не видели и топтали пирожное и конфеты ногами. А какая-то женщина ударила по апельсину, как по футбольному мячу.

— Вот здорово! — сказал я и засмеялся.

«Шоколадный» посмотрел на меня и ответил:

— Ничего хорошего в этом нет. Они бросаются едой, а одна пятая человечества голодает.

Глупо получилось, что я засмеялся, когда женщина футбольнула апельсин. Парень может подумать, что я из разряда бездельников и вообще думаю, что еду покупают в магазине, а туда она попадает прямо с луны. Хотя уж кто-кто, а я-то знаю, как выращивают хлеб.

— Прошлым летом мы были на уборочной, и я сам управлял комбайном, — сказал я.

«Шоколадный» посмотрел на меня. Ясно было — не поверил. А ведь это чистейшая правда. Это Шерстнев придумал. Он пришел в школу и говорит: «Давайте отправим ребят в поле, пусть полюбуются, как работают их родители». Нас привезли в поле поздним вечером. Было темно, и неизвестно, что делать в этой темноте, но, оказывается, комбайнеры спокойно убирали пшеницу. Да, да, я сам всю ночь простоял на мостике комбайна. И вот именно тогда Шерстнев мне доверил штурвальное колесо. А сам вдруг повернул фару, которая была укреплена рядом со штурвалом, в небо. Я его спросил, зачем он это делает. А он ответил: «Чтобы в космосе видели наш огонек». Неплохо придумал. А этот не верит.

— Мы работали всю ночь, — сказал я. — Нельзя было терять время. А утром Шерстнев, наш директор совхоза, собрал ребят и взрослых и говорит: «Не знаю, как вы, а я себя чувствую человеком».

«Шоколадный» внимательно посмотрел на меня.

— Да, — сказал я. — Хлеб вырастить — большой труд. Это не я только так думаю, это Шерстнев часто говорит.

«Шоколадный» снова посмотрел на меня.

— А знаешь, что одна пятая человечества, — сказал он, — это шестьсот миллионов человек. Шестьсот миллионов! И все они голодают.

Я так растерялся от его слов и от количества голодающих людей, что просто потерял дар речи. Никогда бы не подумал, что столько людей на земле голодает.

— А что же делать, чтобы одна пятая не голодала? — спросил я.

— Не знаю, — ответил он. — Только мне это мешает жить.

— Несправедливо, — сказал я.

Я поискал глазами мать. Она стояла в сторонке совсем одна и смотрела на меня. Я-то отлично знал, как она не любила провожать и не любила вокзал этого города, потому что восемь лет назад отсюда в Москву уехал мой отец.

Помахал ей рукой, но она не ответила. Смотрела в мою сторону, а меня не видела. Бывает так иногда у людей: смотрят прямо на тебя, а ты чувствуешь, что они тебя не видят, что у них перед глазами кто-то другой. Может быть, она сейчас думала об отце и о том, что она зря отправила его из дома? Недаром про мать говорили, что «у нее одна любовь на всю жизнь».

Я мог ее окликнуть, но в такие минуты, по-моему, нельзя орать или говорить: «Ты смотришь мимо меня».

Ждал, и все. Она спохватилась в последний момент. Поезд тронулся, и мы помахали друг другу руками. Она долго-долго махала мне рукой, точно провожала меня в дальнее и трудное путешествие.

6

Когда перрон с шумной толпой и моя одиноко стоявшая мать пропали вдаль, я оглянулся. Но этот «шоколадный» уже куда-то исчез.

Жалко было, что он исчез. Я не особенно люблю одиночество. Вернее, я его совсем не люблю. Прошелся по вагону: ребята уже разбились на группы и разговаривали. Девчонки с девчонками, мальчишки с мальчишками. Девчонки рассказывали друг другу про своих учителей, а мальчишки —

про космонавтов и про футбол. И тут он сам появился передо мной.

— Почему ты ушел? — спросил я.

— А, слезы-грезы, — сказал он. — Тебя ведь мать провожала. Я видел.

— А тебя кто провожал?

— Никто. Мама уехала в экспедицию. Она монтирует в горах автоматические метеостанции, а отец взрывается.

— Как это — взрывается? — не понял я.

— Он проводит опыты с газом гелием и часто взрывается. То руки обожжет, то лицо. Это его любимый газ. Он поэтому и меня назвал Гелием. Он очень легкий, этот газ, и создает температуру до двухсот шестидесяти градусов.

— Подумаешь, — сказал я. — Сталь плавят при семистах градусах.

— А гелий создает температуру двести шестьдесят градусов ниже нуля, то есть мороза.

Он мне очень нравился. Все у него было необычное, даже имя: Гелий. И загар необычный, не то что у других: нос облупился, а лоб белый. Или в глубине морщинок светлые полоски, как у меня, потому что я не могу отвыкнуть от привычки морщить лоб. А у него загар ровный и гладкий: руки, лицо и даже уши — всё одного цвета.

— А у меня обыкновенное имя, — сказал я. — Просто Севка.

В это время в наш вагон вошла девушка с пионерским галстуком. Я сразу догадался, что это пионервожатая, они все какие-то одинаковые: у них одинаковые прически и очень строгие лица. Точно им всем запретили улыбаться.

— Ребята, минуту внимания, — громко сказала девушка.

Все тут же повылазили из своих купе и уставились на девушку. Она почему-то покраснела.

— Меня зовут Наташа. — Она покраснела еще сильнее и поправилась: — Наталья Сергеевна. Вам, ребята, стро-

го запрещается драться и выходить на остановках из вагона.

Я вспомнил «Богиню Саваофу», и мне сразу стало скучно-скучно.

— Надеюсь, вы меня не подведете? — спросила она.

— Нет, нет! — закричали все.

Кроме меня, конечно. Я на всякий случай решил промолчать. И Гелий промолчал.

— У вас есть чувство ответственности? — снова спросила она.

— Есть, есть! — закричали все.

А мы с Гелием промолчали. И вдруг она улыбнулась и сказала:

— А теперь можете прыгать, бегать, кричать и петь сколько угодно.

Это было неожиданно, но в следующий момент началось такое, что было не до рассуждений. Все стали прыгать по полкам, перебегать из купе в купе, и везде были ребята, и никто не ругался, что надо молчать, никто не требовал тишины. Здорово было, но только это быстро мне надоело. Сколько можно орать, если тебя не останавливают! И другим это тоже надоело. В вагоне наступила тишина.

Потом мы легли с Гелием спать на верхние полки. Спать нам не хотелось, и Гелий перебрался на мою полку.

— Почему ты молчал, когда Наташа с нами разговаривала? — спросил он.

— Есть у меня причина, — ответил я. — А ты?

— Из солидарности с тобой, — сказал он. — А Наташа мне понравилась. Ничего себе устроила шумок.

— Подумаешь, — сказал я. — Вагон прочный — все выдержит.

— Это разве прочность? — сказал Гелий. — Скоро вагоны будут делать из железобетона. Вот это будет прочность. И самолеты будут делать из железобетона, крылья и фюзеляжи... А Наташа хорошая, ты зря к ней придираешься.

Утром я проснулся первым. Гелий еще спал. Он хоть и «летучий газ», а вот сон из него долго не вылетал. И все остальные ребята спали. Известно, у них на душе легко и свободно, а у меня отец, как гвоздь, сидит в голове. Попробуй тут поспи.

Мне надоело валяться, и я потихоньку сполз с полки. В коридоре встретил Наташу. Она уже была на страже. Помоему, она вообще не ложилась спать. Я ночью вставал, так она тоже не спала. Увидела меня и говорит: «Щеглов, комната мальчиков в конце вагона».

Я стоял у окна и считал телеграфные столбы. У меня привычка такая — все считать: окна в домах, проезжающие машины, собак, пролетающие самолеты. Когда считаешь, очень хорошо думать.

Сначала я подумал о матери. Потом об отце. Решил отправить ему телеграмму, чтобы он меня встретил. Потом подумал, хорошо бы ему привезти подарок и сказать, что это от матери. А то неизвестно, с чего начинать разговор.

Мимо неслышно ходит Наташа. Теперь когда я присмотрелся, то убедился, что она совсем не похожа на вожатую, то есть она не похожа на «Богиню Саваофу». Во-первых, она часто улыбается, во-вторых, она маленькая и худенькая, и лопатки у нее торчат, как у девчонки. Настоящая девчонка, не такая уж, правда, молодая, но замуж ей еще рановато.

Наташа ходит мимо меня, а я считаю столбы и думаю, как бы ее назвать. Когда я насчитал пятьдесят столбов, я вдруг придумал для нее очень хорошее прозвище. Назвал ее «Детектив».

Как она косит глаза в мою сторону, прямо стрижет глазами. Подозрительна до ужаса, ну конечно, настоящий «детектив». Ей интересно, почему я стою один у окна. Может быть, я думаю выбить окно головой и выпрыгнуть из поезда на ходу. А может быть, решил дернуть за стоп-кран, хотя там написано, что за это привлекают к уголовной ответственности.

Но тут ее подозрительность резко усилилась, потому что она увидела, что у меня шевелятся губы, и сказала:

— Почему ты один стоишь у окна?

— А разве это запрещается?

— Нет,— сказала она.— Но, может быть, ты себя плохо чувствуешь или скучаешь о родителях?

— Я люблю одиночество,— сказал я.

— Можно, я постою рядом с тобой? — спросила она.

— Стойте.

Мы помолчали.

— Когда ты смотришь в окно на степи и леса, на незнакомые города, на новые стройки, тебе не хочется соскочить с поезда и идти по этой степи или заявиться на стройку и сказать: «Ребята, я остаюсь с вами»? — спросила она.

— Хочется,— ответил я.

— Я так и думала,— сказала Наташа.— Почему ты молчал, когда все ребята кричали, что не подведут меня.

— А, старая песня,— ответил я.— Меня все вожатые не любят.

— Почему?

— А-а,— сказал я нехотя. Пусть не думает, что я очень хочу с ней поговорить.— Наша школьная, например. Я назвал ее «Богиня Саваофа», потому что она, как бог Саваоф, одна в трех лицах: пионервожатая — раз, учительница — два, главный редактор газеты — три. Она обиделась, стала ко мне придираться. Шуток не понимает.

— Смешно. «Богиня Саваофа». А меня ты как назвал?

Я не подумал и трахнул:

— «Детектив». Вы — подозрительная.

Неудобно получилось. Как это у меня выскочило? Она вдруг покраснела.

— Ну, вот видите,— сказал я.— Вы тоже обиделись. Не знаю, как отделаться от этой привычки. «Богиня Саваофа» сказала, что я бездушный человек. Как вы думаете, это правда?

— Нет, неправда,— сказала она.— Просто у тебя остро-сатирический ум, поэтому ты придумываешь обидные прозвища.

Но я видел, что ей все же было неприятно, она стала какая-то другая. Зря ее обидел, тем более что Гелий ее хвалил, а он разбирается в людях.

— Вы не думайте,— сказал я.— Я буду бороться и отвыкну от этой привычки: никому не стану давать прозвищ. Я ведь ко всем хорошо отношусь, и даже к «Богине Саваофе», то есть к Нине Семеновне.— Потом я вдруг вспомнил, как она извинилась передо мной, не каждый может признать свою вину, даже если виноват, и добавил: — Вот сейчас я к ней просто замечательно отношусь.

В это время поезд остановился у перрона какого-то вокзала, и Наташа бросилась к выходу. Она всегда, как только остановка, сразу — к выходу.

Я подошел к ней и сказал:

— Мне нужно отправить телеграмму одному человеку.

— Ну нет,— ответила Наташа.

— Мне очень нужно,— сказал я.— Честное пионерское! Она внимательно посмотрела на меня.

— Хорошо, я пойду с тобой.— Она попросила проводника не выпускать из вагона ребят, и мы побежали на почту. Бегала она быстро, как мальчишка. Я еле за ней поспевал. Наконец мы прибежали на почту.

— Давай пиши.— Наташа протянула мне бланк телеграммы.— У нас мало времени.

Она повернулась ко мне спиной, чтобы не видеть, о чем я пишу. А я не знал, что мне писать. Думал, думал, ничего не придумал, а тут еще Наташа под боком, и народ кругом разговаривает, и все спешат.

— Ну, чего же ты? — возмутилась Наташа.— Ты когда-нибудь телеграммы писал?

— Нет,— ответил я. Теперь мне уже не хотелось посылать эту телеграмму, и я сказал: — Нет, не писал... — Хотя

я уже писал телеграммы два раза в жизни. Поздравлял маму с днем рождения, она была в командировке, и Юрия Гагарина, когда он благополучно приземлился в заданном районе.

— Давай я напишу,— сказала она.— Диктуй адрес.

— Не буду я писать,— ответил я.— Передумал.

— Ты просто меня обманул.— Она на всякий случай схватила меня за руку.— Ты и не думал никому посылать телеграмму. А я всю ночь не спала, ходила по вагону, боялась, кто-нибудь свалится из вас с верхней полки.

У меня горело лицо, точно я стоял перед теми кострами, которые мы разжигали в поле. Нужно было как-то объяснить ей, что я на самом деле хотел отправить телеграмму. Она даже на «Детектива» не обиделась, и мне совсем не хотелось, чтобы она думала, что я ее дразню.

— Я не думал вас обманывать,— сказал я.

— Если бы я тебе могла поверить!..— сказала Наташа.—

У меня предчувствие, что ты меня обманешь.

Можно было попытаться договориться с ней. Но тогда надо было выложить все про отца, и про то, как мать тоскует о нем, и какая она гордая, и еще многое, что словами не расскажешь. К тому же я не любитель выкладывать свою биографию каждому встречному-поперечному. Скажешь, к примеру, отца нет, и тут же тебя начинают жалеть, и сиротой называют, и бедненьким.

Противно слушать, не понимают они, что ли, что никому их жалость не нужна.

— Я выпью воды,— сказал я.— У меня в горле пересохло.

— Ну ладно,— согласилась она.— Пей.— Она все еще держала меня за руку. Боялась, видно, что меня куда-нибудь в сторону занесет.

Мы подошли к автоматам с газированной водой. Их было тут восемь штук, но все они не работали. Они стояли, как в строю, большие, красные, пузатые, и все не работали.

— Уже тридцать восемь,— сказал я.

— Что — тридцать восемь? — не поняла Наташа.

— Тридцать восемь автоматов я насчитал в дороге, и все не работают. Порядки.

— Пошли обратно. Напьемся в вагоне.

— Хорошо,— сказал я.— Только разве сравнишь обыкновенную воду с газировкой из автомата.

И тут я увидел на витрине киоска большую разноцветную глиняную вазу. Она была ярко-оранжевая, а в центре красовался черный петух с желтым глазом.

— Подождите. Мне надо купить эту вазу,— сказал я.— В подарок одному человеку.

Она смотрела на меня, как на ненормального. А я подошел и купил вазу. Отгрохал за нее два рубля. По-моему, продавец был очень доволен, потому что он даже мне ее упаковывал.

Когда он ее упаковывал, я увидел, что на другой стороне вазы нарисован второй петух. Этот был желтый с черным глазом.

Я взял вазу из рук продавца и сразу как-то почувствовал себя неуютно, беспокойно, ну вроде сделал что-то не совсем так.

— Ваза тому же человеку, что и телеграмма? — спросила Наташа.

— Да,— ответил я.

Теперь она меня уже не держала за руку. Поняла, что я никуда не собираюсь убегать. Раз покупаю вазы, значит, бежать не собираюсь.

Когда я вернулся в вагон, Гелий еще спал. И двое других мальчишек в нашем купе спали. Я поставил вазу на свою полку и вышел в коридор.

В коридоре был настоящий цветник, клумба с цветами разных сортов, потому что все девчонки были в цветных платьях. Они бежали, сустились, пищали, хихикали и запле-

тали косы. Они очень гордились своими косами: то бросят их небрежно за спину, то положат на грудь.

Я стоял и смотрел на них. Интересно смотреть на незнакомых девчонок. Это меня немного развеселило. И тут я понял, почему у меня было такое плохое настроение: просто я потерял надежду, что увижу отца. А теперь у меня снова появилась надежда. Может быть, оттого, что светило солнце, может быть, оттого, что Наташа стерегла нас всю ночь, чтобы мы не упали с верхних полок и не разбились, а может быть, оттого, что все девчонки были в цветных, ярких платьях. В общем, неизвестно отчего, но у меня появилась надежда, что у нас с отцом все закончится удачно.

Конечно, Гелий счастливый. У него вон какой отец: ученый. Во время опытов взрывается, а все равно продолжает работать. Гелий сказал, что он одержимый. Он сказал, что самые счастливые люди — это одержимые. А мой? Опытов никаких не ставит, жизнью ради других не рискует. Ну и что же? Он мой отец. Шерстнев правильно говорил: «Главное — быть человеком». А ведь он человек. Ну, а недостатки есть у каждого, без недостатков нет ни одного человека.

Чем ближе мы подъезжали к Москве, тем больше я волновался. Телеграмму я отцу не стал давать. Дело в том, что у меня созрел новый план: я решил съездить к нему домой. Наташа сказала, что у нас в Москве будет несколько часов свободного времени между поездами, вот я и решил съездить к нему.

Надо было подготовить к этому Гелия, а то я уйду, а они поднимут панику.

— Я с вами на экскурсию не пойду, — сказал я. — У меня одно важное дело.

— А Наташа тебя отпустила? — спросил Гелий.

— Нет, — ответил я. — Я не спрашивал, мне по личному делу надо.

Ему не понравились мои слова, и он не постеснялся это показать. Он не любил, когда обманывают.

— У меня нет другого выхода,— сказал я.

— Нехорошо причинять людям страдания,— сказал он.— Знаешь, что будет с Наташей, когда ты убежишь?

— А что будет со мной, если я не пойду, ты знаешь? — спросил я.— Я, может быть, только из-за этого согласился поехать в Артек, потому что, если по-благородному, я должен был отказаться от путевки. Я узнал, здесь все отличники, только я один не отличник, а я не отказался.

— Ладно, я тебя поддержу. Из солидарности... А что мне сказать Наташе, когда она узнает, что ты сбежал?

— Что хочешь... У меня отец в Москве, и я его не видел восемь лет.

Вот была новость для него! Он просто проглотил язык, и даже лицо у него побледнело. С этой минуты, я заметил, он перестал рассказывать про своего отца, точно он так же, как его любимый газ гелий, испарился в одну секунду. Он все время говорил о матери, но тут-то я уж с ним мог поспорничать.

Мы разговаривали о матерях и всю расхваливали их, со стороны могло показаться, что мы их перехваливали.

Но разве мою мать можно перехвалить? Вот если бы мне сказали: теперь твоя мать будет вон та женщина, она знаменитый академик или чемпион мира по горнолыжному спорту,— я бы отказался. Ведь эти женщины никогда не отгадают моих мыслей и никогда не будут стирать белье до полуночи, если я сделаю что-нибудь не так.

Когда мы приехали в Москву, оказалось, что поезда на Симферополь надо ждать целых восемь часов. И Наташа сказала, что мы пойдем на прогулку по Москве: поедem на Красную площадь, потом на Ленинские горы, а потом во

Дворец пионеров. Но я уже ничего этого не слышал, у меня в груди затрепетало, а в голове запрыгало. Я был готов в ту же секунду броситься на поиски отца.

Мы вышли на вокзальную площадь. Это была большая круглая площадь, и по этой площади, как по гигантскому колесу, крутились сотни машин. А людей столько, что вообще не протолкнешься, и у всех разные лица. И все они спешат, и никто не обращает друг на друга внимания.

— Ребята,— сказала Наташа.— Вот это и есть Москва. Имейте в виду, здесь легко потеряться. Поэтому возьмитесь за руки.

Ребята построились парами и взялись за руки, как малыши из детского сада. Видно, их всех напугал этот московский шум: потоки машин и троллейбусов и толпы людей.

Я тоже чувствовал себя не очень уверенно. Им-то что: они поедут на Красную площадь и во Дворец пионеров, а я должен один броситься навстречу этим автомобилям и людям. А людей в Москве, Гелий сказал, шесть миллионов.

Хорошо жить в совхозе: если у тебя какая-нибудь неприятность, знаешь, куда идти; если у тебя радость, тоже знаешь, куда идти. А тут — шесть миллионов, и все чужие.

Мы с Гелием стали в строй последними, чтобы мне удобнее было убегать. В руке я держал свою вазу.

— Ты почему не сдал вазу в камеру хранения? — спросила Наташа.

— Я боялся, что ее там разобьют,— соврал я.

— А где же тот человек, которому ты привез подарок?

— Почему-то не пришел.

Я врал с трудом, обычно мне это дается легче. Я даже иногда нахожу в этом удовольствие, ну вроде чувствуешь себя прямо артистом, когда ловко соврешь учителю или сочинишь какую-нибудь историю для ребят. А сейчас мне было неудобно врать. Может быть, потому, что рядом стоял Гелий, и он знал правду, и осуждал меня за вранье, и толь-

ко из солидарности молчал. И еще эта Наташа: хороших людей всегда труднее обманывать.

— Ничего,— сказала Наташа.— Не волнуйся, он придет к поезду.

— А я и не волнуюсь,— ответил я.

Наташа прошла вперед, и мы направились в метро.

— Пора,— тихо сказал Гелий. Он снова побледнел, как тогда в поезде, во время моего рассказа об отце.

Я поставил вазу на тротуар и наклонился, точно мне было остро необходимо перевязать шнурок на туфлях. Решил, буду завязывать, пока они не скроются в метро. Но мне пришлось тут же вскочить, потому что какой-то мужчина чуть не сбил мою вазу. Я еле успел ее подхватить, а он обругал меня еще размазней. А потом я пошел в противоположную сторону...

У меня было три рубля. Целое состояние. Это я понял, когда подошел к продавщице мороженого и приценился к московским ценам. Там было мороженое в бумажных стаканчиках, которое стоило семь копеек. Я подсчитал, что смогу купить сорок три порции такого мороженого. Сорок три стаканчика — это ли не богатство? Можно было бы накормить весь наш класс, и еще осталось бы матери и Шерстневу. Но я не имел права сейчас тратить. Неизвестно, что ждало меня впереди.

Ух, до чего у меня пересохло во рту, точно я пересек пустыню Сахару и не пил десять дней! А я всего-навсего перешел вокзальную площадь.

Это, правда, тоже не такое легкое испытание. Во-первых, я тут рисковал жизнью не меньше, чем отец Гелия во время опытов, потому что московские шоферы совсем не обращают внимания на людей. Катят прямо на них, а сами прохожие тоже норовят попасть под машину. Я просто очумел от всего этого. А во-вторых, у меня Наташа не выходила из головы.

Честно говоря, я согласился бы в одиночку пересечь Са-

хару или полжизни не есть мороженого, но чтобы мне не нужно было обманывать Наташу и чтобы мой отец жил вместе с нами. А я сейчас с ребятами в свое удовольствие гулял бы по Москве.

Может быть, тогда бы я даже отвык от своих дурацких привычек: не приклеивал никому обидные прозвища и не считал бы про себя телеграфные столбы, окна в домах и прочую ерунду. Может быть, тогда у меня в голове было бы пусто и легко, как бывает иногда по утрам, когда я забываю про все неприятности?..

Я подошел к троллейбусной остановке и сел в первый троллейбус. Надо было как можно быстрее уехать подальше, чтобы Наташа не спохватилась и не подняла тревогу.

При современной технике меня могли выловить на площади в одну секунду. Объявят, например, по вокзальному радио, что пропал мальчик двенадцати лет, и опишут приметы, и какой-нибудь сознательный гражданин обязательно меня подцепит. Это точно, и я об этом читал в газетах. Нет, меня не так-то легко провести, хотя я и не москвич.

Москвичи думают, что они самые хитрые и умные, но мы на целине тоже в курсе всех событий. И про объявления по радио знаем, и про то, что в одну минуту по фототелетайпу могут передать мою фотографию во все отделения милиции, а через час она будет в руках у каждого постового милиционера. Это я тоже знаю.

В троллейбусе кондуктора не было. Каждый бросал монету в кассу-копилку и отрывал билет. Я бы тоже бросил монету и оторвал билет, но у меня ведь было три рубля. Постоял, посмотрел, неизвестно, что делать, а потом сел у окна. Поставил вазу на колени и сижу. Смотрю по сторонам. Даже немного успокоился.

— Мальчик, твой билет?

Я поднял голову и увидел перед собой женщину. Тут мне так и ударило — билет-то я не купил.

Все в троллейбусе сразу стали смотреть в нашу сторону.

Можно было выкрутиться и сказать, что я выронил билет в окно, но я почему-то ответил:

— У меня нет билета.

— Может быть, тебе еще нет семи лет? — елеинным голосом спросила контролер.

Она явно хотела меня унижить.

— Нет, что вы, — сказал я. — Мне двенадцать, по-моему, не такой уж маленький.

— Современная молодежь! — сказала какая-то старуха. — Ни стыда у них, ни совести. А еще пионер. Соврал бы что-нибудь для приличия.

— А зачем мне врать? — сказал я.

А сам начал лихорадочно думать, как выпутаться из этой истории. Сейчас бы надо было всех разжалобить, заплакать, что ли. Это всегда действует на людей, но я не любил унижаться.

— Вот и мои внуки так же, — сказала старуха. — Говорю им: сходите за хлебом, а они — «неохота». Скажали бы: у нас срочное дело, а то «неохота». Никакого уважения.

— А вот мы его сейчас за воротник да в милицию! — сказал контролер.

— За что? — спросил я.

— За то самое, там разберутся.

— Просто я привык ездить без билета, — сказал я.

— Ах, он привык ездить без билета! Приятная откровенность, — сказала контролер. — Да еще с багажом.

— Какой же это багаж! — возмутился я. — Обыкновенная глиняная ваза. Я ее в подарок везу.

— В чем дело, товарищи? — раздался чей-то бас. — Почему не проходите?

— Безбилетника поймали. Мальчишку.

— Воришку? — откликнулся бас. — В милицию его.

— Тихо, тихо, — сказал старик, который сидел рядом со мной. — На мальчишку все готовы орать, а вот если бы тут

стоял взрослый бандит, вы бы живо кулаки спрятали в карманы.

— Ну, знаете, только не я, — ответил бас. — Товарищи, разрешите пройти! Разрешите.

Перед нами появился толстый маленький мужчина.

— Где здесь правонарушитель? — спросил он.

— Это я, — ответил я. — Только я не виноват. Просто привык ездить без билета. У нас автобусы бесплатные.

— Где это у вас? — снова спросил толстяк.

— Алтайский край, совхоз «Новый».

— Силен заливать. Из коммунизма притопал, что ли? — засмеялся старик, который сидел рядом со мной. — А еда у вас тоже бесплатная?

— Нет, — ответил я.

— Ну, хватит веселить публику, — сказала контролер. — Пошли в милицию. Там составят протокол и сообщат куда надо по всем правилам.

— Никуда не пойду! — сказал я. — Я правду говорю.

— Однако каков хулиган! — крикнул толстяк. — Вырастет, будет бандитом. Определенно...

— Тихо, тихо! — перебил его старик. — Это уже слишком.

— Честное слово, дяденьки, я говорю правду! — закричал я.

Я посмотрел на их лица: на старика, на толстяка, у которого от возбуждения нос покрылся капельками пота, на старуху, которая рассказывала про внуков. Еще в троллейбусе сидели молодой парень с девушкой — но, по-моему, они ничего не слышали и не видели — и пожилая женщина, похожая на артистку.

Я смотрел на них и думал: ну как объяснишь этим чужим людям, если они ничего не хотят знать! Им что, они придут домой, и все у них дома в порядке, а наша семья разбросана на два конца.

— Честное слово, я из совхоза. Честное слово! Вот, пожалуйста, у меня есть деньги, я сейчас куплю билет.

— Скажи-ка, три рубля! — пропела старуха. — Не иначе, стащил у родителей.

— Почему обязательно стащил? — сказала женщина, похожая на артистку. — Как вам не стыдно!

— Вы меня не стыдите, — ответила старуха. — Ишь какая! Нацепила шляпку и думает, что умнее всех.

— Тетя, — сказал я, — но вы-то мне верите, что я не безбилетник?

— Конечно, верю, — ответила женщина.

— Ну ладно, — сказала контролер. — Плати штраф пятьдесят копеек, и делу конец.

Я нехотя подал три рубля. Пятьдесят копеек ни за что ни про что — это было просто возмутительно. Но в милицию я тоже не мог идти, не было у меня времени бороться за справедливость. И потом, легко сказать — в милицию: они там сразу во всем разберутся. Могут сообщить в совхоз или в Артек — и возникнет «международный скандал».

— Возьмите, — сказал я. — Денег мне не жалко, только это несправедливо.

— Ладно, ладно, — ответила контролер. — Теперь будешь внимательней.

Она взяла у меня три рубля и стала рыться в карманах, чтобы дать сдачу. В это время троллейбус остановился, и женщина, похожая на артистку, вышла.

Из кабины выскочил водитель, молодой парень, очень похожий на наших совхозных трактористов.

— Граждане, прекратите базар! — крикнул он. — Ну, чего вы ругаетесь?

— Безбилетников возите, — сказал толстяк. — Народную копейку не бережете.

— Кто здесь безбилетник? — спросил водитель. — Ты?

— Да, — ответил я.

— Штрафуете? — спросил он у контролера.

— Штрафую, — ответила она.

Он внимательно посмотрел на меня.

Пока я тут ворочался, вскакивал и садился, разорвалась обертка на вазе. И теперь из обертки выглядывал черный глаз желтого петуха.

— Братишке? — спросил водитель.

— Нет, — ответил я. — Отцу.

— Тоже неплохо, — сказал водитель. — Веселый петушок!

Вдруг он выхватил три рубля из рук контролера, сунул их мне и подтолкнул ■ двери. А я, вместо того чтобы бежать, стал упираться. Совсем обалдел.

— Иди, иди, — сказал водитель. — И больше не попадайся. Это пиратство — брать с мальчишки пятьдесят копеек.

— Я на вас акт составляю! — закричала контролер.

Но тут-то я опомнился и выскочил из троллейбуса.

А троллейбус тронулся. Когда он проезжал мимо меня, я увидел, как толстяк и старуха открывали и закрывали рты. Они были похожи на рыб в аквариуме.

8

Все окончилось хорошо, и я даже волноваться стал меньше. Иду, смотрю по сторонам. Неплохой все же городок Москва. Машин много, это по мне. Придется попросить отца, чтобы повозил по городу. А то вернусь в совхоз, ребята — ко мне, а я ничего не видел. И тут меня окликнула женщина, та самая, которая защищала в троллейбусе.

— Отпустили?

— Водитель заступился, даже штраф не взяли. Он сказал, это пиратство — брать с меня пятьдесят копеек.

— Я с ним согласна, — сказала женщина. — Если меня когда-нибудь выберут председателем Моссовета, я разрешу всем детям ездить в троллейбусах бесплатно. — Она на миг задумалась. — Нет, не всем. Тогда они будут целыми

днями раскатывать. Отличникам, да, отличникам. Им надо придумать значки, чтобы все знали: вот идет отличник. И везде ему вход бесплатный: в троллейбус, в метро и даже в научно-популярное кино.

Вот это была идея! Я понял, что передо мной необыкновенная женщина. Здесь надо было действовать решительно.

— Знаете что, — сказал я, — приезжайте ■ нам в совхоз. Вам там понравится. У нас здорово! Шерстнев вам руки будет целовать.

— Прости, прости, — сказала она неожиданно басом. — Кто такой Шерстнев и почему он будет мне целовать руки? Он мне не муж и не жених. Я его имя слышу первый раз.

— Это директор нашего совхоза, — сказал я. — Совсем забыл, что вы его не знаете. У него такая поговорка. Если ему кто-нибудь по душе, он всегда говорит: «Передай ему — приеду, руки у него буду целовать». Ну, это вроде самого большого спасибо.

— Любопытный ваш Шерстнев.

— Очень. Он у нас придумал закон: каждый, кто уезжает на запад, должен обязательно привезти с собой новенького.

— Ах, вот как! А ты, значит, меня наметил жертвой?

— Вас, — ответил я.

— Мило и неожиданно, — сказала она. — Чем же я тебе понравилась?

— У нас в совхозе нет ни одной такой, как вы.

— Выходит, я вроде ихтиозавра или носорога буду у вас в совхозе? Ты меня будешь демонстрировать в клетке?

— Нет, зачем же, — ответил я. — Вы будете работать. Чем вы занимаетесь?

— Преподаю немецкий язык.

— Шпрехен зи дейч? — обрадовался я.

— Умоляю, больше ни слова! — застонала она. — У тебя варварское произношение.

— Хорошо, — охотно согласился я. — Не буду. У нас

в школе с немецким языком очень плохо. Ведь смех и грех, у нас немецкий преподает учитель физкультуры. По совместительству. Он служил в армии в Германии и вот преподает немецкий язык.

— Ты это серьезно?

— Да, — тихо ответил я. — Вы же испугались моего произношения. Но я лучший в классе, а другие, они думают, что «презенс» — это прошедшее время... Вспомнить страшно!

— Возмутительно! — сказала женщина. — А что смотрит районо, облоно?

— Не знаю, — сказал я. — Вероятно, они оторвались от народа.

— Ну-ка, ну-ка, дай мне адрес твоего совхоза. Физкультурник преподает немецкий язык!

Она вытащила маленькую книжку и записала с моих слов адрес нашего совхоза, мое имя и фамилию.

— Ты не волнуйся, я не буду упоминать твое имя, чтобы у тебя не было осложнений в школе.

— А я не боюсь, — ответил я. — Я принципиальный.

— Вот как! — сказала женщина. — Интересно, какая будет жизнь, когда вы будете управлять страной?

— Прежде всего у нас будут работать все автоматы с газированной водой — это раз. А то, вы подумайте, из ста автоматов, из которых я хотел напиться воды, восемьдесят пять не работают.

— Правильно, — сказала женщина. — С маленького начинается большое. А собственно, куда ты держишь путь, милый Сева?

— В Артек.

— А сейчас?

— Ищу Хомутовский тупик.

— Э, братец, тебе в другую сторону.

— Знаю, — ответил я. — Только я решил вас немного проводить.

— Отчаянные родители, — сказала женщина. — Такого маленького мальчика пускают гулять по незнакомой Москве.

— У нас в степи заблудиться опаснее, чем здесь, — ответил я. — Тут вон сколько людей, а там пустота. А ночью все эти фонари горят?

— Горят, — сказала она.

— А у нас ночью ни одного фонаря. — Я подумал, что проговорился и теперь уж ни за что не уговорить ее приехать к нам в совхоз, ■ добавил: — В степи темнота, а в поселке лампочки дневного света. — Хотел еще сказать, что их включают только по большим праздникам, и снова вовремя остановился.

Вообще ведь со взрослыми надо осторожнее: они придирчивы ■ мелочам. Очень для них важно, чтобы была уютная квартира, и чтобы хорошая постель, и обязательно завтрак и обед по расписанию. У нас, например, был такой случай. Приехал в школу новый учитель, побыл неделю, и след его простыл. Оказывается, он уехал из-за туалета! Школьный туалет у нас на улице — поэтому он уехал.

— А еще, еще у нас... — Я никак не мог придумать, чем бы ее сразить.

— Не уговаривай, у меня в Москве муж и двое детей, — сказала женщина. — А в министерство я обязательно зайду. До свидания.

— Жалко, что отказываетесь, — сказал я. — У нас бы для всех нашлось дело — и для вашего мужа, и для ваших детей.

Потом мы разошлись. На душе у меня было спокойно. Жалко, конечно, что я не уговорил эту женщину приехать к нам. Это была бы победа, если бы она со всей семьей прикатила в совхоз; интересно, что тогда про меня сказал бы Шерстнев?

А у «Богини Саваофы» вот бы вытянулось лицо. А то она считает, что совершила героический поступок, приехав на целину. Самый настоящий героический поступок, ну вроде впрыгнула на ходу в горящий поезд и спасла десять грудных

детей, которые вот-вот должны были сгореть в этом пламени.

А тут приезжает целая семья; и никакого геройства в этом не видят... Да, геройство. Как же! У нас в школе три учителя немецкого языка. Одного прислали из Барнаула. Одну привезли трактористы, когда ездили на выставку в Москву. А следом за ней приехал еще один: как выяснилось, ее бывший однокурсник.

Он хотел работать именно в нашей школе, и баста. Директор сначала не соглашался его оставлять, а потом почему-то оставил. Именно он и преподавал физкультуру.

Я успокоил себя, что не очень-то соврал, сказал только наоборот, что у нас физкультурник преподает немецкий, а нужно было сказать, что «немец» преподает физкультуру. Да еще такой свирепый: все команды отдает по-немецки. «Лёйф!» — кричит он. А я: «Что такое?» Притворяюсь, что не расслышал его команды. А он: «Шприх дейч!» Значит, говори по-немецки. А я: «Вас ист дас?» У меня из-за этого на физкультуре все не так получается. Он приказывает: «Ложись!», а я стою. Он говорит: «Бегом!», а я иду шагом. Раньше для меня физкультура была отдыхом, а теперь я даже не понимал: не то я на уроке физкультуры, не то на уроке немецкого.

9

Целых двадцать минут я стоял на углу Хомутовского тупика. Ноги у меня тряслись от страха, и руки тоже тряслись: чуть не уронил вазу. Казалось, стоит мне войти в этот Хомутовский тупик, как я сразу столкнусь с отцом.

Я думал, что буду искать тупик ну хотя бы два часа, а он вот, передо мной: маленькая, совсем не московская улочка в старых домах, изогнутая змейкой. Я помнил адрес на память: дом пятнадцать, квартира шесть.

Сколько раз я представлял, как приду к отцу и скажу:

«Ну, хватит! Не знаю там, что у вас с мамой случилось, но тебе пора возвращаться. А то что же получается? На весь наш класс я один без отца. А «Богиня Саваофа» даже крикнула мне: «Безотцовщина!» Как, по-твоему, хорошо это?» — «А за что она тебе это крикнула? Небось нахулиганил?» — спросит он. «Может, и нахулиганил, я не отказываюсь. Приедешь — и разберешься. Если надо, можешь меня наказать, я не возражаю».

«Эх,— подумал я.— Скандал теперь будет. Наташа, видно, уже спохватилась, и началась паника, а я тут стою, точно присох к месту».

Я вошел в этот несчастный тупик и стал искать дом пятнадцать. Прошел раз: нет дома пятнадцать. Прошел второй раз: снова нет. Дом тринадцать, потом небольшой сквер, а потом сразу дом семнадцать.

В сквере на скамейке сидел старик и читал газету. Я сел рядом. Старик посмотрел на меня, и я сказал просто так, неизвестно кому:

— Странная улица: дом тринадцать, а потом сразу семнадцать.

— М-да...— промычал старик.— Сейчас много странного. Вот, к примеру, я вчера прочел в журнале, что профессор Чумаков испытал действие лекарства против полиомиелита на себе. Страшная болезнь, при ней ноги отнимаются. Он двойную порцию этой вакцины принял, жизнью рисковал. Вот это странно, удивительно и достойно восхищения. А то, что нет дома пятнадцать, в этом ничего странного нет.

— А по-моему, странно,— сказал я.

— Дом этот снесли,— сказал старик.— Старый был, ветхий. Его построили после наполеоновского пожара. В тысяча восемьсот тринадцатом году! Значит, стукнуло ему сто пятьдесят лет. Его и снесли. Скоро всю нашу улицу снесут, и не будет Хомутовского тупика. А то ведь какое унижительное название придумали: «Хомутовский тупик!» А ты сам где живешь?

— Далеко, я приезжий, — ответил я.

— Ах, ты приезжий! Для тебя здесь много интересного. Видал, как Москва строится?

— У нас в совхозе тоже строятся.

— Что ты, что ты! Сравнил! — сказал старик. — Масштабы не те.

— А где же все жители дома пятнадцать?

— Переехали в новые дома. Одни — в Измайлово, другие — в Мазилово, третьи — на Ленинские горы.

— А как же теперь быть? — спросил я. — У меня в этом доме жил знакомый. Мне необходимо его повидать.

— Очень просто, — ответил старик. — Выйдешь на большую улицу, найдешь справочное бюро и узнаешь.

Я вышел на большую улицу и нашел справочное. Перед окошком справочного стояла женщина, и в справочном сидела женщина. Они разговаривали на посторонние темы, это было сразу ясно. У нас в совхозе женщины тоже любили поговорить, но они всегда говорили о важных делах: о том, какой намечается урожай, о своих детях, о новых людях в совхозе, о том, чей муж хороший, а чей плохой. А эти разговаривали о танцах — чего только не придумают москвичи, — про какое-то «па-де-де» и про какую-то «польку через ножку». Ну прямо как наши девчонки.

Мне надоело их слушать, я спешил, а они — «па-де-де», и я сказал:

— Скоро у вас кончится перерыв?

Они замолчали, и та, что стояла рядом со мной, сказала: «Извините», и мелким-мелким шагом, как-то смешно ставя ноги, почти побежала по тротуару. А та, что сидела в справочном, посмотрела на меня, как «Богиня Саваофа», поджала губы и прищурила глаза, выпустила в меня электрический заряд силой в несколько ампер.

Я сказал ей, что мне надо, и она начала приставать: где он родился, когда родился, где жил последнее время. В общем, ясно, что нарочно придиралась. Хотела отомстить, что

я прервал разговор. Смешно, когда люди злятся, а тебе хоть бы что.

— Ах, какая персона! — сказала она. — Персона грата без пяти минут.

Я не знал, что такое персона грата, но на всякий случай сказал:

— А вы меня не оскорбляйте.

— Если не знаешь, что значит «персона грата», лучше помолчи, — сказала она.

— Я спешу. — И добавил: — Я приезжий.

— Ну и что же? Это не дает тебе права врываться в чужой разговор. Все спешат. И, между прочим, у каждого человека есть своя жизнь. Об этом всегда надо помнить. Женщина, которую ты сейчас прогнал, да, да, прогнал, я не боюсь резких слов, — нежнейшее существо, героиня! Она была балериной, и какой!

— Я не хотел ее обидеть, — сказал я. — Просто у меня сегодня тяжелый день.

— Вот-вот, я же говорю, ты эгоист! В первую очередь думаешь о себе. — Она сняла трубку телефона и стала передавать все об отце: и фамилию, и когда родился, и где жил последнее время. Выходит, она ко мне не придиралась, когда все выпрашивала. Потом она подняла глаза, в них не было уже никаких электрических зарядов, и сказала: — Придешь через двадцать минут.

Я отошел в сторону и подумал: «Неплохо бы сейчас догнать балерину и вернуть ее обратно. Пусть себе поговорят еще немного, раз у них свободное время, раз им так интересно разговаривать про свои танцы». Потом посмотрел на толпы людей, шагающих по тротуару, и понял, что мне уже никогда ее не найти. Стало как-то не по себе. Появился перед тобой человек и пропал. Ты его больше никогда не увидишь, и он, может быть, тебя не запомнил. А ты его запомнил, и тебе неприятно, что ты с ним плохо обошелся.

Да, хорошо бы найти балерину, но разве в этой толпе кого-нибудь разыщешь? Здесь люди перед тобой пролетают, как падающие звезды в небе. Мелькнут и пропадут навсегда. И мне вдруг стало не по себе. Показалось, что никогда не найти в этом чужом и громадном городе отца. Наскочил на меня страх. Вернуться бы к ребятам, и сразу все стало бы просто и легко, и через какие-нибудь шесть часов я сидел бы в поезде и катил в Артек.

Ну нет, этого сделать я не мог, хоть убей, хоть разорви на мелкие кусочки, чтобы я отступил от своего. Вспомнил мать, вспомнил длинные зимние вечера, когда мы сидели вдвоем и она вдруг просто переставала разговаривать. Думала о чем-то своем и не разговаривала. А я тогда из всех сил старался ее развлечь и выдумывал для нее смешные истории и выполнял в одну секунду ее приказы.

Решил вернуться к старику на сквер. Но старика уже не было. На самом краешке скамейки спиной ко мне сидела девушка. Я поставил вазу на скамейку и сел рядом.

— Здесь был старик, — сказал я. — Вы не видели, куда он ушел?

— Не видела. — Она явно была не расположена к разговору.

— Жалко, — сказал я. — Интересный человек. Я хотел его к нам на целину пригласить.

— А ты что, с целины?

— Да. Из совхоза «Новый». У нас знаете какой совхоз? Лучший в республике. Нет, пожалуй, первый во всем Советском Союзе.

— Так уж и первый? — не поверила девушка.

— Конечно, первый. Вот я сегодня ехал в троллейбусе, и меня контролер хотел отвести в милицию за то, что я был без билета. А почему я был без билета? Потому что у нас автобусы бесплатные. По привычке не взял билет.

— А что еще удивительного в вашем совхозе?

— Разве все сразу вспомнишь, — сказал я, а сам поти-

хоньку, незаметно скосил на нее глаза: надо было решить, стоит ли на нее тратить порох. — Вы не немка?

— Почему немка? — удивилась девушка.

— Нет, я понимаю, что вы русская, но вы не учительница немецкого языка?

— Я врач, — сказала девушка.

— Вот здорово! — закричал я. — Нам знаете как врачи нужны? Позарез! — Неплохо бы ее уговорить, очень неплохо. — У нас женщины нарасхват, — сказал я. — Только приедут, сразу замуж выходят. Мужчин у нас много: трактористы, строители.

— А мне на мужчин наплевать.

— Каждую субботу в клубе танцы, — продолжал я. — Под радиолу.

Нет, танцы на нее тоже не подействовали. Удивительно, до чего трудно угодить человеку: одному подавай одно, другому совсем другое. Одни девчонки дня прожить не могут без танцев, прямо млеют от музыки, а другие презирают.

— Самое главное, — сказал я, — работать там, где ты нужен людям.

— Ты просто агитатор, — сказала девушка.

— Это не я, это наш директор так говорит. Он вам руки будет целовать, когда приедете.

— Куда это ты собралась ехать? — услышал я незнакомый голос.

Позади скамейки стоял мужчина. Молодой, высокий, ну прямо артист или спортсмен. Нетрудно было догадаться, кто это. Здесь уж ничего не скажешь, здесь надо молчать.

— Уезжаю в совхоз на целину, — сказала девушка.

— Ну, брось сердиться, — сказал мужчина. — Я взял билеты в кино.

— Пойдешь один, — ответила девушка. — А мне надо собираться в дорогу.

Я подумал, что она шутит, но посмотрел ей в лицо и увидел, что она совсем не шутит. Глаза у нее вдруг стали узкие

и злые. Не люблю я, когда люди ссорятся. Конечно, приятно, если бы она поехала к нам в совхоз: и Шерстнев был бы рад, и все бы на каждом углу говорили, что Севка Щеглов привез «врачиху», но все равно я не любил, когда ссорились.

— А знаете что, — предложил я мужчине, — поезжайте вы к нам тоже. У нас для всех найдется работа.

Он резко повернулся в мою сторону:

— Слушай, не лезь не в свое дело. И вообще катись отсюда подальше, пока не схватил по шее!

Я повернулся и пошел. Потом вспомнил, что забыл вазу, и вернулся. Спокойно подошел, взял вазу. Нарочно медленно так ее брал, чтобы он не думал, что я испугался.

Плевать мне было на его угрозы, — подумаешь, по шее! Легче всего дать другому по шее, если у тебя такой рост и такие длинные руки. Это небольшая хитрость. Но только мне было обидно: думал, что девушка заступится за меня, а она даже бровью не повела. Не понимаю я таких людей, просто не понимаю. Хорошо, что она не приедет к нам в совхоз. Вот если бы меня кто-нибудь так обидел при Шерстневе, он бы в обиду меня не дал.

Взял вазу и пошел, потихоньку так пошел. Думал, ну вдруг она окликнет меня и скажет: «Прости, парень, за грубость». Но никто меня не окликнул. На углу я оглянулся. Они уходили в противоположном направлении. И разговаривали и даже смеялись.

Я подождал, пока они отошли подальше, и крикнул:

— Мы еще с вами встретимся... Вот я приведу отца...

Эх, жалко, что я не знал его имя, а то бы ославил на всю страну. Везде бы рассказывал, какой он «герой». Размахался руками. Потом я начал представлять себе, как встречу отца, пойду с ним гулять и случайно приведу сюда, а на этой скамейке будут сидеть и чиркать эти двое. Тогда-то он сразу станет повежливее: увидит отца и спрячет свои длинные руки. А я скажу: «Не трогай его, отец, видишь, у него губы дрожат от страха».

Самое главное — найти отца. Это было самое-самое главное. Тогда бы я успокоился, а то сейчас я совсем растерялся. Может быть, если бы я был девчонкой, я бы даже заплакал.

Прямо на меня из-за угла выскочила «Волга». Неизвестно, как я очутился на середине улицы. Я прыгнул в сторону, и машина повернула в ту же сторону. А в следующий момент она ударилась крылом о столб. Из машины выскочил шофер и стал кричать диким голосом, что мне нужно оторвать уши, выпороть ремнем, обзывал дураком. Кричал, что из-за таких, как я, честные люди могут угодить в тюрьму.

Ну что он так кричит, точно я нарочно прыгнул под машину?

Вокруг нас собралась небольшая толпа. Только что во всем переулке не было ни одного человека, а тут, на тебе, уже стояла толпа.

Шофер влез в машину и завел мотор, а я потихоньку пошел дальше. Честно говоря, я не прочь был пуститься бежать, чтобы поскорее скрыться из этого несчастного тупика. Но я боялся, что они тогда подумают, что я трусил.

И вдруг слышу — меня нагоняет машина. А я иду своей дорогой, делаю вид, что все это ко мне не имеет никакого отношения. Губами шевелю, вроде песенку пою. А машина медленно едет рядом. Шофер опустил боковое стекло и высунул голову.

— Ну, хватит притворяться! — У него было большое мрачное лицо и громкий голос. — Лучше полюбуйся на свою работенку.

Я посмотрел: на переднем крыле была сильная вмятина. Краска в этом месте облупилась, и виднелось ржавое железо.

— Три годика проездил без единой аварии, — сказал шофер. — А теперь влип. На двадцатку ты меня нагрел.

Я молча шел рядом, от машины ведь не убежишь.

Наконец он отстал от меня, остановился, вылез из машины и стал снова рассматривать вмятину на крыле. А я пошел дальше.

— Эй, малый! — крикнул шофер. — Пстой!

Я пошел быстрее. Слышу, он догоняет меня. Тогда я пропустил бегом, но не прошло и десяти секунд, как он схватил меня за шиворот.

— Легко ты решил отделаться! — крикнул он. — Я тебе покажу, я тебя проучу!

— Не имеете права! — крикнул я. Это было унижительно, он тащил меня за шиворот, точно я какой-то бандит.

— Ничего, ничего. Сейчас подведем к твоим родителям, с них я получу денежки. — Он втолкнул меня в машину. — Где живешь? — спросил он. — И не вздумай врать, а то я сейчас включу счетчик, и мы покатым за твой счет. — Ему понравилась эта идея, и он даже издал звук, что-то вроде смеха. — Ты тогда можешь весь день петлять, а домой меня приведешь.

— Я живу не в Москве, — сказал я.

— А где же?

— На целине, в Алтайском крае.

— Ври, ври, да не завирайся. Ишь, хитрая бестия, как ловко вывернулся. На патриотизме хочешь сыграть: целинник, хлебопашец, наш кормилец, мол, придется тебе, дорогой дядя, меня простить.

— Честное слово, — сказал я. — Честное пионерское под салютом.

— Под салютом, говоришь? А что же ты делаешь в Москве, с кем ты приехал?

— Я проездом, еду в Артек.

— ■ Артек?

— Да. Знаете? Всесоюзный пионерский лагерь Артек.

— Я-то знаю, — ответил он. — Что же, ты едешь в Артек один?

— Нет, у нас целый отряд. И вожатая Наташа. Уезжаем

в десять часов вечера,— сказал я.— А сейчас иду по личным делам.

Мы помолчали.

— Да, выходит, все же ты нагрел меня на двадцатку.

— У меня только три рубля.— Я вытащил три рубля ■ показал ему.

— Ну что ж, давай твои три рубля.— Он взял у меня деньги и положил в карман.— А теперь вываливайся и считай, что легко отделался.

Я открыл дверцу машины, взял вазу и вылез. Что теперь делать, неизвестно. Денег ни копейки, а мне надо доехать до новой квартиры отца, а потом добраться до Курского вокзала.

Нечего сказать, распорядился я деньгами: два рубля вбухал в вазу, а три рубля забрал шофер. А еще директор школы говорил: «Счастливый Щеглов!» Со стороны все счастливые. А где он, этот счастливый Щеглов, что-то его не видно. Может быть, наш директор счастливее меня, хотя он и оторвался от народа. Ему что, научится запоминать фамилии, и дело в шляпе. А мне теперь просто неизвестно, что делать.

Не успел я дойти до конца переулка, как шофер снова догнал меня.

— Эй, путешественник, как там тебя? — крикнул он.

— Севка.

— Ну, так вот, Севка, три рубля маловато. У меня семья, детишки, им на лето надо дачу снимать.

— У меня больше нет.— Видно, он был здоровый жадюга. Ну конечно, я виноват, но я ему честно сказал, что у меня нет больше денег, а он не верит.— Вот только эта ваза.— Я показал ему на вазу.

— Ваза ничего.— Он посмотрел на моих петуков. Взял в руки и повертел: сначала на одного петуха посмотрел, потом на другого.— Для ребятешек ничего.

— Я не могу вам ее отдать,— сказал я.— Везу в подарок

одному человеку. — Взял вазу за край и потянул к себе. Он все еще не выпускал ее из рук.

— Какому человеку? — спросил он.

— Чужому, просили передать, — ответил я.

Не хватало только, чтобы я приехал к отцу на этой разбитой машине.

— Вот что. — Он выпустил вазу из рук. — Садись-ка в машину. Поедем в гараж, там ты все чин чинном расскажешь нашему завгару, и он — официальное письмо твоим родителям. А они нам — денежки.

— Пожалуйста, — сказал я. — Готов поехать к вашему завгару. Мне только надо выйти на углу, чтобы взять адрес в справочном.

Шофер подозрительно посмотрел на меня, но на углу остановился.

— Вазу оставь, — сказал он.

Я ничего ему не ответил, раз он так унижается и трясется из-за этих несчастных денег. Если бы у меня сейчас были деньги, к примеру сто рублей, я бы ему сразу отдал. Я бы ему тысячу рублей отдал, пусть радуется. И я стал думать, как я заработаю много-много денег и всё буду присылать, присылать ему эти деньги, пока он сам не откажется от них.

Подошел к справочному и постучал в окошко.

— Вот твоя справка, — сказала женщина из справочного. У нее в руке была полоска бумаги. — Плати пять копеек.

Это для меня было как взрыв атомной бомбы. Она держала в руках тоненькую, почти папиросную бумажку с адресом моего отца, но я не мог ее получить. У меня не было пяти копеек. Какие-то несчастные пять копеек, одна круглая монета, а где ее взять?

— У меня нет денег, — сказал я.

— А зачем же ты заказывал справку? — спросила она.

И мог бы ей сказать, что у меня были деньги, когда я заказывал справку, а за эти двадцать минут я остался без денег. Мог бы рассказать про шофера и про свои три рубля, но

мне надоело унижаться и просить. Я стоял и молчал, понимал, что она сейчас разорвет мою справку, а все равно молчал.

— Возьми,— сказала она и протянула справку.— На проспект Вернадского надо ехать на метро до станции «Университет».

...На бумажке было написано: «Щеглов Михаил Иванович, 1930 года, проспект Вернадского, 16, подъезд 8, кв. 185». Я спрятал бумажку с адресом и вернулся в машину. Там уже сидел какой-то мужчина.

— Теряю из-за тебя время,— сказал шофер.

Он крутнул ручку счетчика, машина тронулась, на счетчике стали быстро меняться цифры.

Все молчали. Я видел в шоферское зеркальце лицо мужчины. Он надел большие роговые очки, достал из толстого портфеля газету и стал читать.

— Придется ехать переулками,— сказал шофер.— А то милиционер может задержать за аварийный вид. Все из-за этого героя.

Мужчина оторвался от газеты. Теперь я увидел, что он читал газету «Советский спорт».

— Приехали,— сказал он.— Вот, вот около этого подъезда.— Ему трудно было выходить из машины.— А этого героя ремешком бы, ремешком.

Шофер посчитал мелочь, которую ему уплатил этот пассажир, и сказал:

— Солидный человек. А то другой жметесь, считает, считает, копейка в копейку платит. А я думаю так: раз нет лишних денег, нечего лезть в такси.

— Это до революции воспитывали ремешком,— сказал я. И подумал: «Да, хорош ты гусь. Шерстнев таких презирает».

Я теперь совсем почему-то перестал его бояться.

— Поехали, что ли, в ваш гараж,— сказал я.— У меня своих дел полно.

— Не хочется порожняком, — ответил он. — Может быть, подхватим какого-нибудь «чижика». А насчет воспитания ремешком ты, пожалуй, прав. Нехороший этот метод, неправильный. У меня два сына, двойняшки; я их пальцем ни-ни. Убеждением действую.

Я промолчал, не хотелось с ним разговаривать.

— Свободно? — Перед машиной стоял высокий, худой мужчина. — Отвезете на Сокол?

Он сел в машину и с интересом посмотрел на меня.

— Сынок? — спросил он.

— Какой там сынок! Этот парень меня наколол на двадцатку, — сказал шофер. — Видели вмятину на левом крыле? Он виновник аварии. В гараж его везу, а там письмо напишут родителям, чтобы деньги прислали за аварию.

— А ты, парень, издалека? — спросил мужчина.

— С Алтая, — ответил я. — Мы в совхозе живем.

— Далековато. А родители в совхозе работают?

— Мать — зоотехник.

— А отец?

Я промолчал.

— А отец? — снова спросил он.

— Мы вдвоем живем, — ответил я.

Шофер скосил на меня глаза, он первый раз скосил на меня глаза. До этого он не смотрел в мою сторону.

— Эх, отцы, отцы! — сказал мужчина. — Понятно, понятно.

Шофер снова покосился.

— «Понятно, понятно»! — сказал шофер со злостью. — Лучше скажите, где остановить машину.

— Вот здесь остановите, — сказал мужчина. Он вышел из машины. — Прошу на меня не кричать.

— Давай, давай шагай! — сказал шофер.

Мужчина ушел, а шофер еще долго что-то недовольно бубнил себе под нос.

— Ну, развернулись, — сказал он. — И в гараж.

В это время к машине подлетел паренек лет двадцати.

— Шеф,— сказал паренек,— подбрось на улицу Горького. Спешим.

Шофер посмотрел на меня и сказал:

— Ну ладно.

— Сейчас, у нас здесь небольшая компания.— Он протяжно свистнул и закричал: — Ребята!

К машине подлетели еще паренек и девчонка, вроде Наташи. Худенькая, высокая, но только Наташа была не такая красивая.

— Полетели, шеф,— сказал первый паренек.— Кафе «Космос». Гуляем. Представляете, спихнули физику.— Это он сказал нам.

— Когда он у тебя спросил, что такое «нормальный металл»,— сказала девчонка,— я решила, ты сгорел.

— Это я? — удивился первый паренек.— Да я эти «нормальные металлы», как орехи...

— А вчера что говорил? — спросил второй паренек.

— Вспомнил про вчерашнее! — Он засмеялся.— Вперед надо смотреть, вперед!

— Мальчики,— сказала девчонка,— отвернитесь. Я при-
му божеский вид, а то я как общипанная курица.

Она достала из сумки расческу и начала чесать волосы. Схватит пук волос и начинает остервенело чесать: сверху вниз, сверху вниз. Никогда не видел, чтобы так причесывались. А потом она уложила волосы руками, и получилось даже хорошо. А потом достала карандашик и начала водить им около глаз.

— Ну, я готова,— сказала она.

— Блеск! — сказал первый паренек.

И мне тоже очень понравилось. А второй паренек мрачно заявил:

— Ничего не блеск. Нет, Ленка, из тебя явно не выйдет физик, ты очень интересуешься своей персоной.

— Выйдет. А Лиза Мейтнер? Все пишут, что она была

красивой женщиной, модно одевалась и так далее, а сделала больше некоторых мужчин в ядерной физике.

— Синий чулок, — сказал первый паренек. — Ты на него, Ленка, не обращай внимания.

Лена ничего не ответила, и они все трое замолчали. Видно было, что второй паренек обиделся и не хотел начинать разговор. А первому молчать было трудно, он посмотрел на меня и подмигнул. А я ему улыбнулся: почему не улыбнуться хорошему человеку.

— Ты где живешь? — спросил он меня.

— Далеко, — ответил я. — В Алтайском крае, на целине.

— Крепко, — сказал он. — Я в прошлом году тоже был на целине. Здорово поработал.

— Ты? — переспросил второй паренек. — Леночка, ты слышала? А мы как будто не работали. Он, видите ли, поработал.

— Ладно вам, ребята, из-за ерунды... — сказала Лена.

Совершенно ясно было, что между ними назревал конфликт.

— А вы еще поедете на целину? — спросил я.

— Может быть, поедем, — ответила Лена. — А что?

— Приезжайте к нам, — сказал я. — У нас совхоз первый на весь край. А директор, он вам руки целовать будет.

— Мальчики не любят, когда мне целует кто-нибудь руки, — сказала Лена.

— Он не целует, он только так всем говорит, кто хорошо работает. «Вы, — говорит он, — молодец, увижу, буду руки целовать».

— Это человек! — сказал первый паренек. — А ты, между прочим, в кафе «Космос» был?

— Не был, — ответил я.

— Упущение, шеф, — сказал он шоферу. — Паренек приехал с целины, а ты его даже не сводил в кафе «Космос». Там ведь мороженое знаменитое.

Видно, он принимал меня за родственника шофера.

Я промолчал, и шофер промолчал. Почему-то не сказал свою любимую фразу: «Он виновник аварии, нагрел меня на двадцатку».

Мы подъехали к кафе, и они выскочили из машины.

— Шеф, у нас идея, — сказал первый паренек. — Мы забираем твоего племянника в кафе.

— Нет, — запротестовал шофер.

— Не волнуйтесь. Доставим домой в лучшем виде.

— У него дело поважнее, чем ваше мороженое, — сказал шофер.

— Жаль, — сказал паренек.

— Приезжайте к нам! — крикнул я.

Мне хотелось, чтобы мои слова услышала Лена. Она засмеялась и помахала мне рукой.

— Еще одна жертва твоей красоты, — почему-то сказал второй паренек.

Я хотел вставить еще какое-нибудь слово, но шофер резко тронул машину вперед.

— Ишь ты, добряки, — сказал шофер. — Пожалели. Пожалел мужик волка... Жалостливые какие нашлись. Накрыл бы ты их на двадцатку, что бы они тогда запели?

— Но они ведь ничего не знали, — сказал я. — Просто они веселые и добрые.

— А, замолчи ты! — крикнул он. — За чужой счет все добрые.

— Скоро мы приедем в гараж? — спросил я. — Надоело мне!

— Подождешь, невелика птица, — ответил шофер.

Почему-то у него снова испортилось настроение.

Он резко свернул с улицы Горького в переулок, проехал немного и остановился.

— Пошли, — сказал он. — Надо съесть пару сосисок. Вазу возьми с собой.

— А можно, я посижу в машине? — попросил я.

— Нет, нельзя. Такие номера у нас не проходят.

Мы вошли в закусочную. Там было много народу, и вкусно пахло сосисками, и все стояли за высокими столиками и ели эти сосиски. По-моему, здесь были одни шоферы такси. Они громко разговаривали и смеялись.

— А, Федоров появился, — кивнул кто-то на моего шофера. — Как дела?

— А... — отмахнулся Федоров.

— Опять недоволен, — сказал другой шофер.

— Что это у тебя за адъютант с вазой? — крикнул первый шофер.

— Машину из-за него раскокал, сам еле цел остался, — сказал Федоров.

Это он-то еле цел остался? Ну и силен привираты! Но я промолчал. Здесь все, конечно, были на его стороне.

Федоров пошел к стойке за сосисками, а я остался стоять у столика.

— Эх, малыш, нехорошо. — Рядом со мной стоял мужчина. В одной руке он держал тарелку с тремя сосисками, а второй руки у него не было — пустой рукав от пиджака был засунут в карман. — Нехорошо у тебя вышло, малыш. Жизнью надо дорожить, особенно в мирное время.

Первый раз мне так сказали: «Жизнью надо дорожить». До сих пор все жалели машину или деньги, которые надо истратить на ее ремонт. А этот однорукий вдруг пожалел меня.

Подошел Федоров.

У него на тарелке возвышалась целая гора сосисок. Ну, штук десять.

— Привет, Федоров, — сказал однорукий. — Как пацаны?

— Ничего, растут. — Федоров улыбнулся. Видно, пацанов он своих любил: как заходил про них разговор, он даже в лице менялся.

Я стоял, а они ели свои сосиски. Федоров отправлял в рот сразу по целой. Мне так захотелось есть, что голова закружилась.

Однорукий посмотрел на меня, потом на Федорова, который уничтожал свои сосиски, и сказал:

— Эй, малыш, может быть, сделаешь одолжение ради компании? — Он кивнул на последнюю сосиску на своей тарелке.

Федоров перестал жевать. Он даже покраснел, честное слово. А я повернулся и вышел из закусочной. Не хотел я есть их сосиски.

Вышел на улицу и остановился около машины. Стою и смотрю на вмятину на крыле. А тут появился однорукий. В руках у него ломтик белого хлеба и сосиска.

— На, съешь, — сказал он.

Я сначала не хотел брать, и есть мне уже не хотелось. Я когда расстроюсь, у меня аппетит пропадает. Но неудобно было отказаться, взял хлеб и сосиску и начал есть.

— Ты сам откуда приехал? — спросил однорукий.

— С целины. — Надоело мне всем объяснять, откуда да зачем.

— Слыхал, мне Федоров рассказал, но я решил переспросить, — сказал он. — Ну, и как у вас виды на урожай?

Когда он спрашивал, то видно было, что он делает это не из вежливости и любопытства, а по-настоящему интересуется. Чем-то он был похож на Шерстнева. И ростом намного ниже, и на лицо другой, а чем-то похож.

— Хорошие виды, — ответил я. — У нас в совхозе всегда хороший урожай... — Хотел добавить, что он может поехать к нам в совхоз, что для него и без руки найдется там хорошая работа, но прямо так не скажешь. Я решил начать изда-лека: — Наш директор Николай Павлович Шерстнев, так у него нет пальцев на одной ноге, и ничего, работает.

— Понятно, — ответил однорукий. — А вот с одной рукой шофером не поработаешь. До войны я был мастером по автомобильному спорту. А теперь не то.

— Так я вот говорю: Шерстнев наш вовсю работает. Приезжайте к нам, я вас с ним познакомлю.

— Спасибо,— сказал однорукий.— Но из Москвы я уехать не могу. Здесь родился. Воевал. Слышал, может быть, про знаменитую оборону Москвы? В армии маршала Рокоссовского служил. Он тогда еще в чине генерал-лейтенанта был... Мне здесь каждая улица знакома. Да, да, ты не смотри, что Москва — большой город. Вот сейчас заверни на угол и увидишь старый двухэтажный дом. Он теперь желтого цвета. А я помню, раньше он был серый, а еще раньше — красный. А живу я за Бородинским мостом. Для тебя этот мост, как все мосты. А для меня это Бородинский мост. Ну вроде он живое существо. Мой товарищ. Во время войны, бывало, придет к нам пополнение, я сразу к москвичам: «Братцы, Бородинский цел?» Тогда фашисты часто бомбили Москву. «Цел»,— говорят. И воевать сразу вроде легче.

Из закуской вышел Федоров.

— Ерунда вмятина,— сказал однорукий.— А парень неплохой, на целину меня приглашал.

Я видел, как Федоров подмигнул однорукому: молчи, мол.

— Ерунда, говорю, Федоров, вмятина,— снова сказал однорукий.— Он тебя нагрел самое большее на пятерку.

— Ну ладно, не твоего ума дело,— сказал Федоров.— Давай топай.

— Ну чего злишься? — сказал однорукий.— Поедем к нам в гараж, я тебе бесплатно все сделаю.

— Ненавижу добряков. И откуда только они сегодня на мою голову сыплются?

Мы сели в машину. Федоров завел мотор, и мы поехали дальше. Между нами стояла ваза.

— Если вам не хватает денег,— сказал я,— переезжайте к нам, у нас шоферы здорово зарабатывают.

Он посмотрел на меня так, что я сразу замолчал.

— Надоел ты мне со своей целиной,— сказал он.— И студентов ты приглашал, и этого однорукого приглашал, а теперь еще меня зовешь!

— Я всех зову, кто мне нравится,— сказал я.

— А что же, я тебе тоже понравился? — спросил он.

— Нет,— сказал я.— Просто вам нужны деньги, поэтому я вам предложил.

— Слушай, помолчи, а то схлопочешь подзатыльник!

— Своих — ни-ни,— сказал я,— а на чужих замахиваетесь?

— Ох и вредный ты парень! — сказал он.— Злой на язык.

Это я-то злой, когда он меня вынуждает, когда несправедливость так и выскакивает из него! Ему бы поговорить с женщиной из справочного бюро, она бы объяснила ему, кто он такой.

— Скажи спасибо, что у тебя нет отца. Жалко тебя обижать.

— А мне ваша жалость не нужна,— сказал я.— И отец у меня есть. Он тоже шофер. Он в Москве временно живет, учится в институте.— Врал ему вовсю, пусть, думаю, позабудет.— Скоро инженером будет и вернется в совхоз... У него есть мотоцикл. А здоровый, как Юрий Власов. Рост два метра. Он свой мотоцикл одной рукой выжимает.

Он мне не верил, косил на меня глаза и помалкивал.

— Вот,— сказал я.— Вот! — выхватил из кармана бумажку с адресом отца и сунул ему под нос.— Читайте: Щеглов Михаил Иванович, проспект Вернадского, шестнадцать, подъезд восемь, квартира сто восемьдесят пять. Ясно? Ему новую квартиру дали за хорошую работу...

— Вазу ему везешь? — спросил он.

— Ему.

Мы снова помолчали.

— Убери ее, а то еще кокнем,— сказал Федоров.

Я убрал вазу, поставил между ног. Теперь, когда Федоров опускал вниз правую руку, он дотрагивался до моей колени. У него были большие, толстые руки. Они были вы-

пачканы машинным маслом, и у меня на коленке осталась узенькая коричневая полоска.

Федоров остановил машину у магазина. Интересно, что он еще придумал?

— Вот тебе три рубля, купи две порции мороженого: мне и себе. Видишь, вон продают мороженое?

— Вижу, — сказал я. — Вам могу купить, а мне не надо.

— Ну, раз ты такой гордый, — сказал он, — купи только мне.

Я вышел из машины и пошел покупать ему мороженое. Жадюга он был, даже не стал меня уговаривать: мол, брось, купи себе тоже. А он обрадовался. Сейчас куплю ему самое дорогое мороженое, пусть объедается. Поесть он тоже не дурак. Мало ему сосисок, так на закуску еще мороженое подавай. Барин какой.

Купил ему мороженое за двадцать восемь копеек: оно было облито сверху шоколадом и все в бугорках от орехов. Я сам это мороженое никогда в жизни не ел, даже не нюхал. Шел к нему и прямо чуть не плакал над этим мороженым. Можно сказать, на мои три рубля он купил себе мороженое, да еще моими руками.

Когда я подошел к машине, она вдруг тронулась. На секунду передо мной мелькнуло хмурое лицо Федорова и тут же пропало. А рядом со мной стояла моя ваза, в руке было мороженое, а в другой деньги: два рубля семьдесят две копейки.

Я подумал, что сейчас Федоров смотрит в свое шоферское зеркало и видит меня. Поднял вазу над головой и помахал ею. Представил себе, как моя ваза раскачивается у него в зеркальце. Машины, которые едут сзади него, и моя ваза.

Потом я пошел в метро, чтобы ехать к отцу.

Ужасно до чего он далеко жил! Надо было сначала ехать на метро, а потом минут двадцать на автобусе. И еще эта ваза мне руки оттянула. Неудобно ее было нести. Приходилось все время перекидывать из левой руки в правую.

Бумага на вазе разлезлась, я ее оборвал, и теперь два громадных цветных петуха так и торчали у всех перед глазами. Стоило мне войти в вагон метро, как сразу все усталились на них. Взял и спрятал вазу между ног.

Но только я спрятал вазу, как маленький мальчик на руках у женщины, которая сидела напротив меня, заорал благим матом:

— Хочу петушка!

■ сначала молчал и прикидывался, что не понимаю, о каком петушке он воет, а потом пришлось вытащить вазу и показать ему.

Всю остальную дорогу держал у него вазу прямо перед носом. А он даже слюни от радости пускал, обнимал вазу, гладил петухов. Еле его оторвали от этой вазы.

Наконец я нашел нужный мне дом, подъезд и поднялся на пятый этаж. Несколько минут постоял у дверей с номером 185.

Потом переложил вазу из левой руки в правую. А потом решил ее поставить временно в угол, чтобы не бросались в глаза сразу эти дурацкие петухи. Уже хотел позвонить, но почувствовал, что у меня во рту стало сухо-сухо, а язык большой и не шевелится.

Поднялся на несколько ступенек выше и тихонько запел песенку про шоферов, чтобы расшевелить язык. Немного успокоился и снова подошел к этой двери, но, вместо того чтобы позвонить, прислонил ухо к замочной скважине: ни звука.

Постоял немного, потом взял и позвонил. Еще, еще секунда, и откроется дверь, и я окажусь с ним один на один.

И вдруг я схватил вазу и, прыгая через две ступеньки, бросился вниз. На втором этаже остановился. Глупо было, конечно, так пугаться. Ясно, что отца нет дома, что он на работе. Но возвращаться мне не хотелось. Я вышел во двор...

Двор был большой, усаженный деревьями, а в самом центре — площадка. Там стояли скамейки и играли ребята. Я подошел и сел — спешить было некуда. У меня было времени еще часа четыре.

На асфальтовом кругу площадки стояли мальчик и девочка. Мальчишка был с самокатом. Они о чем-то разговаривали и поглядывали в мою сторону. Может быть, смотрели на меня, а может быть, на вазу. Неизвестно. На всякий случай я сделал безразличное лицо.

Потом мальчишка покатил на самокате. Раз проехал мимо меня, второй, а на третий остановился.

— Новенький? — спросил мальчишка.

— Приезжий, — ответил я. — Должен эту вазу одному человеку передать.

— Откуда? — спросил мальчишка.

— Издалека.

— Сила, — сказал мальчишка. — И петухи тоже сила.

— Такого цвета петухов не бывает, — сказал я. — Какой-то художник бешеный их нарисовал.

— А все равно, — сказал мальчишка. — Хочешь прокатиться на самокате? Самоходный и с тормозом.

— Можно, — ответил я.

Взял самокат и попробовал прокатиться, но чуть не упал. У нас в совхозе никто на таких самокатах не катается. Я их до сих пор только в кино видел.

— Я раздумал, а то еще сломаю, — сказал я.

— Ерунда, — успокоил меня мальчишка. — Его сто раз ломали. Сейчас я тебя научу. Главное — сильно отталкиваться ■ не нажимать на тормоз. И все.

— Эй, я пошла! — крикнула девочка.

— Ну и иди, — ответил мальчишка.

— Позовешь — не вернусь, — сказала девчонка.

Ох, любят эти девчонки угрожать! Сама не человек, а палка. Глазищи зеленые, и платье зеленое. Настоящая ящерица. А тоже угрожает.

— Не позову, — сказал мальчишка. — Не беспокойся!

Молодец, а то я боялся, что он убежит за этой ящерицей. А мне надоело болтаться одному, и от взрослых я за день устал. Всё взрослые и взрослые, целый день. Устаешь от них.

Девчонка повернулась и убежала.

Теперь мы катались на самокате по очереди. Круг я, круг он. Потом он предложил кататься на скорость, кто быстрее. Один вслух считал: раз, два, три... а другой в это время катил по кругу. Он нарочно считал медленнее, чем я, чтобы я оказался победителем.

— Говоришь, издалека? — спросил наконец он.

— Издалека, — ответил я. — С целины.

— Сила! — закричал он. — У меня не было ни одного знакомого целинника.

Он протянул мне руку и крепко пожал. Он жал мою руку изо всех сил.

— Севка. — Я тоже пожал ему руку так, чтобы он почувствовал.

— А я Сережка, — ответил он. — У тебя мозоли. Сила!

— В мастерской работаю. Трактористам в ремонте помогаю.

— А я еще сам ни разу в жизни ничего не делал, — вздохнул Сережка. — Москва, сам понимаешь. Мастерской здесь не найдешь. А если даже найдешь, взашей могут выгнать. Пропадаю.

— Ну, в Москве тоже неплохо.

— Хорошо-то хорошо, но размах не тот, — сказал Сережка. — Давай дружить по-настоящему. Уедешь — переписываться будем.

— Давай, — согласился я.

— А потом, может быть, я приеду к вам,— сказал Сережка.— Вырасту же я когда-нибудь. Будем с тобой жить в палатке.

— У нас давно нет палаток,— ответил я.

— Ну, все равно,— печально вздохнул Сережка.— Все равно я к вам приеду.

— Приезжай. Не пожалеешь.

— А ты надолго?

— Да я проездом. Сегодня приехал и сегодня уеду. В Артек.

— Сила,— сказал Сережка.— Ох и счастливый ты!

— Вот передам одному человеку эту вазу и уеду,— ответил я.— А в вашем доме мне знакомого повидать надо. Может быть, ты его встречал: высокий такой? — Подумал, что бы еще рассказать об отце, но ничего не придумал.— Ну, в общем, он высокий-высокий.

— Здесь высоких много,— сказал Сережка.— По таким приметам не найдешь.

— Щеглов его фамилия. Щеглов Михаил Иванович,— сказал я.

— Да ведь это дядя Миша! — крикнул Сережка.

Это был первый в моей жизни человек, который видел его совсем недавно, вчера или позавчера.

— Только он совсем не высокий,— сказал Сережка.— Обыкновенный рост... Он мой лучший друг.

Я не стал с ним спорить. Может быть, действительно он и не высокий, я ведь не видел его восемь лет. Но стало обидно, и я даже рассердился на Сережку, хотя он-то уж во всяком случае не был виноват в том, что мой отец уехал из совхоза и бросил нас.

— Чем ты ему приглянулся, что он записал тебя в лучшие друзья? — спросил я.

— А его весь наш двор знает,— ответил Сережка.— У него старенький мотоцикл, и он часто занимается ремонтом во дворе, а я ему помогаю. Он скоро придет с работы.

— Подождем, — согласился я. — Времени у меня достаточно.

— А этих петухов ты ему привез? — спросил Сережка и кивнул на мою вазу.

— Этих?.. Нет, не ему. Одна женщина послала мужу — подарок ко дню рождения. Неудобно было отказать... А может, мне сходить к нему на работу?

— Кто его знает, где он работает, — ответил Сережка.

Да, Москва — это не наш поселок, где каждый знает, где кто работает, где живет и что за человек. Здесь вон сколько людей, и все разные. Попробуй разберись в них. Потом я почему-то подумал, что когда мы с Сережкой станем взрослые, то многое будет по-другому. В общем, нам будет нравиться одно и то же. Потому что ведь вот мы с Сережкой жили в разных концах Советского Союза и только что познакомились, а уже друг друга с полуслова понимаем.

В это время затарахтел мотор, и кто-то въехал во двор на мотоцикле. У меня прямо задрожало все внутри. Удивительно, до чего я был нежное и трусливое создание: раньше я этого за собой не замечал. И никто бы в это не поверил. Даже «Богиня Саваофа» говорила, что я парень не робкого десятка. А тут, если бы не Сережка, я бы убежал.

— Не он, — сказал Сережка. — Это студент, на новеньком чешском мотороллере. Называется «Чезета». Машина — высший класс. Папочка купил.

— Неплохо устроился, — сказал я.

— Ерунда, — ответил Сережка. — Так каждый может, на чужие денежки. Ты думаешь, если бы мне купили мотороллер и цветную рубашку, как у него, то я бы не смог форсить? Форсить каждый может. Но мне лично противно, когда форсят.

Я промолчал. Что говорить, и так все ясно.

Снова во двор въехал человек на мотоцикле. У этого был большой, мощный мотоцикл, а на глазах квадратные темные очки; из-за них нельзя было рассмотреть лица мотоцикли-

ста. Он проехал мимо нас и даже посмотрел в нашу сторону. Я подумал, что сейчас он остановит мотоцикл, и снова почувствовал, что не могу произнести ни слова.

— Тоже не он, — сказал Сережка. — Это летчик. Служит в гражданской авиации. Второй пилот на «ТУ-124». Неплохой парень, только всегда торопится. А мотоцикл — сила! На малых оборотах тянет без звука. Два цилиндра. На нем можно рекорд скорости поставить.

— А сколько же у вас мотоциклов? — спросил я.

— Двенадцать, — сказал Сережка. — Студент — раз, летчик — два, рыжий — три, шофер-таксист — четыре, инженер — пять, парашютистка — шесть... — И тут Сережка закричал: — Дядя Миша! Дядя Миша!..

12

По двору ехал человек на мотоцикле. Он был в маленькой кепке, сдвинутой на лоб. Я его сразу узнал, я бы его узнал среди тысячи людей, среди десяти тысяч и даже среди миллиона. И мотоцикл я сразу узнал. Вдруг вспомнил, как мы на этом мотоцикле ездили по степи втроем: я, мама и он.

У него тогда была точно такая же кепочка, и у меня была такая же кепочка. Ее мне сшила мама и надела мне так же, как носил он. «Правильно, — сказал тогда он. — Правильно носишь кепку».

— Побежали! — закричал Сережка.

Он проехал мимо нас и помахал Сережке рукой.

— Постой, — сказал я.

— Ну чего же ты, а то он уйдет!

— Понимаешь... — Я был не из тех, кто с первого раза выкладывает свои секреты, но сейчас у меня другого выхода не было. — Ты умеешь хранить тайну?

— Могила! Можешь на меня положиться.

Сережка готов был подождать. А я не знал, с чего начать.

— Ну? — не вытерпел Сережка.

— В общем, ты не говори ему, что я его жду. Понял?

— Не очень, — сказал Сережка. — Сам ждал, говорил: нужен, а теперь не говорить. Пожалуйста, не буду. — Он ждал, что я еще скажу. — Это и вся тайна?

— Нет, не вся, — ответил я. — Мне надо с ним поговорить, но чтобы он не догадался, откуда я приехал и как меня зовут. Понял?

— Понял, — кивнул Сережка. — Пошли, а то он уйдет.

— Пошли, — сказал я.

Мы вышли на асфальтированную дорожку, и Сережка покатыл на самокате. Я бежал рядом. Вазу с петухами я держал сбоку, чтобы ее не было видно.

Мы подбежали к нему.

— Ну, как работает старик? — спросил Сережка и хлопал по бензобаку мотоцикла.

— Работает, — ответил он.

— А как работает? — Сережка изо всех сил старался поддержать разговор.

Он ничего не ответил. Сидел перед мотоциклом на корточках и молчал. Меня он не видел. А я был совсем рядом, стоило мне протянуть руку, и я бы дотронулся до его плеча.

Я бы мог ему сказать: «Хватит копаться с этой старой посудинкой». А он бы мне ответил: «А тебе какое дело?» А я бы ему: «Значит, есть какое-то дело». Он бы посмотрел на меня... и произошло бы что-нибудь необыкновенное. Он завел бы мотоцикл, посадил меня сзади, и мы бы куда-нибудь покатались, где никого-никого нет. Мы бы покатались в самое укромное место в Москве. А у Сережки рот открылся бы от удивления...

Стоило мне только дотронуться до его плеча, только протянуть руку и шевельнуть пальцем. Ну чего я стоял, как чурбан? Столько лет об этом мечтал, столько пережил из-за этого, а теперь стоял перед ним и молчал.

А он продолжал возиться с мотоциклом, и мускулы

ходуном ходили под его рубашкой. И руки у него были в масле, совсем как у Федорова. Но вот он выпрямился. Ему надо было, видно, подойти к мотоциклу с другой стороны. А мы стояли у него на дороге.

— Идите, ребята, идите, нечего болтаться под ногами, — сказал он. — Не до вас.

Мы с Сережкой отошли и смотрели на него издали. В конце концов, почему он должен с нами разговаривать? Нет у него для этого свободного времени. Может быть, он торопится на собрание или у него срочное задание по работе, а здесь еще мотоцикл барахлит. Голос его мне понравился: низкий такой и слова чуть-чуть растягивает.

Наконец он бросил возиться с мотоциклом и пошел к подъезду. Прошел мимо нас и посмотрел в мою сторону. Так, скользнул глазами, даже петухи на вазе его не удивили. А меня он просто не узнал.

Вот что происходит с отцами, когда они уезжают из дому! Рядом с ним стоит его сын, а он и в ус не дует. Точно это не его сын, который носит одну с ним фамилию, и до сих пор помнит его голос, ■ узнал бы его среди миллионов людей. А этот отец преспокойно проходит мимо и скрывается в подъезде.

Неизвестно, что теперь делать дальше. На вокзале, вероятно, паника уже идет вовсю. И еще эта ваза с петухами все руки оттянула. Подарить ее Сережке и уехать? Или лучше написать записку, положить в вазу и попросить Сережку передать отцу? Но мне бы с ним поговорить, хотя бы несколько слов сказать, чтобы он знал, что я — это я.

— Не очень-то разговорчивый, — сказал я. — А мне про него рассказывали, что он любит поболтать.

— У него по настроению, то начнет говорить — не остановишь, — сказал Сережка, — а то: «Привет, спешу, брат, спешу», — и все. Но на мотоцикле меня два раза прокатил, и вот самокат тоже он починил.

Мы помолчали.



— Ну, что теперь будешь делать? — спросил Сережка.

— Не знаю. На вокзале паника, вероятно, страшная. В общем, мне на это наплевать, но Наташу жалко. Это наша вожатая — мировой человек. Она из-за всего переживает, все принимает близко к сердцу. Представляешь, ей меня доверили, а я сбежал.

— А зачем же ты сбежал? — спросил Сережка.

— Чрезвычайные дела, — сказал я. — Если бы я ей все рассказал, то она бы меня простила.

— Все не расскажешь, — сказал Сережка.

— Вот именно, — согласился я. — А дома ты у него бывал?

— Нет, — ответил Сережка.

— Понимаешь, нужно мне сказать ему одну важную

вещь,— сказал я.— Привет передать. А я почему-то не смог...

— Он теперь, может быть, до утра из дома не выйдет.— Сережа помолчал, посмотрел на меня.— А ты этих петухов, значит, не ему привез?

Ведь я ему уже говорил про этих петухов, что привез их другому человеку, а он снова спросил.

— Нет, не ему,— сказал я.

— Тогда придется ждать до утра,— сказал Сережка.

— Хорошенькое дело! — ответил я.— У меня всего времени час или два.

— Надо что-нибудь придумать,— сказал Сережка.

— Надо,— согласился я.

— Вон его окно,— показал Сережка,— на пятом этаже.

Открытое... Первое справа. Видишь?

— Вижу.

— Придумал, придумал! — закричал Сережка.— Бросим ему в окно небольшой камешек, он выглянет, ну, а мы ему что-нибудь крикнем.

— А если мы не попадем? — сказал я.— Выбьем соседнее окно?

— Да.— Сережка вздохнул.— Тогда нам крышка. Здесь домоуправ жестокий. Он нас в милицию отведет за милую душу. В детскую комнату. А там женщина работает, лейтенант милиции, как начнет воспитывать, не обрадуешься.

13

Стало вечереть. Мы сели на скамейку, а между нами стояла ваза. На меня в упор смотрел желтый глаз черного петуха. Сережка посмотрел на своего петуха.

— Севка,— сказал он,— а у твоего петуха какой глаз?

— Желтый,— ответил я.

— А у моего черный... Бабка моя сейчас, вероятно, уже ругается, что ужинать не иду.

— А ты иди,— сказал я.— Я, например, совсем есть не хочу.

— И я не хочу.— Сережка вздохнул.— Придется идти к Софке, она сразу что-нибудь придумает. Она самая умная в нашем классе. Даже иногда обидно бывает: сидишь, мучаешься над задачей. А она придет, раз-два — и решила. Мать говорит: Софка способная девочка, а по-моему, просто везучка.

Я промолчал.

— Ты что, вообще против девчонок?

— Вообще против. Обидчивые они. Я одну называл «дохлая принцесса», так потом меня на сборе отряда разбирали. Шутки не понимают.

— Я тоже вообще-то против,— сказал Сережка.— Но что же делать? Без Софки не обойдешься. Она хитрая и ловкая. Думаешь, катал меня дядя Миша на мотоцикле? Нет. А Софку катал. Думаешь, он починил бы мне самокат? Никогда в жизни. Ты же видел: «Привет, брат, привет, спешу, дела». А Софка его попросила, и он починил. Слова она особенные знает, хотя можно сказать, что из ее разговора ничего нельзя толком понять. Она не выговаривает две основные буквы алфавита: «л» и «р». Она вместо «ложка» говорит «вожка».

— Ну, раз так,— сказал я,— пошли к твоей Софке.

Мне теперь все равно было, куда идти, так у меня было тяжело на душе. Может быть, на самом деле эта хитрая Софка что-нибудь придумает.

— Она живет на втором этаже.

Мы подошли к Софкиным окнам, и Сережка несколько раз коротко свистнул, но в окне никто не появился. Он еще раз свистнул.

— Видал? — Он кивнул на Софкины окна.— Нарочно не подходит. Характер у нее ой-ой! Бабушка говорит, на такой женишься, будешь ходить в струнку.

Я стоял рядом и размахивал вазой. Передо мной появ-

лялся то желтый, то черный петух, точно они гонялись друг за другом.

— Смотри разобьешь! — сказал Сережка.

— Я не разобью.

— Пошли! — крикнул Сережка.

Это была хитрость. Стоило нам сделать три шага, как Софка тут же высунула голову и крикнула:

— Эй, Сережка, чего свистишь под окнами! Я читаю книжку, а ты свистишь.

— Ну и читай свою книжку.

— А чего же ты свистев?

— Дело есть, — сказал Сережка.

— Ну? — сказала Софка.

— Я не собираюсь орать на весь двор, — ответил Сережка.

— А ты губами, — сказала Софка. — Я пойму.

— А может, спустишься? — попросил Сережка.

— Нет, ты губами, — сказала Софка. — А то не пойду.

Сережка начал говорить одними губами. Софка, не отрываясь, смотрела ему в рот. Когда Сережка кончил, Софка тут же исчезла из окна.

— Сейчас прибежит, — сказал Сережка. — Она ради другого в огонь и в воду. Это у нее есть.

— А что ты ей сказал? — спросил я. — Ничего нельзя было понять.

— В двух словах изложил твою историю. — Сережка помялся. — Про него.

— А... — Нужно было что-нибудь еще спросить, и я сказал: — И ты тоже умеешь читать по губам?

Сережка скривился, подумал, вероятно, соврать мне или нет, и ответил:

— Нет. Я только умею говорить беззвучно, одними губами, а читать не умею. — Он помолчал. Видно, его подавляло полное превосходство Софки, потому что он сказал: — У меня губы толстые, по ним не хитро прочесть. А ты попробуй

прочитай по Софкиным губам. Она сама по своим губам ничего не может прочитать.

— Как это сама по своим губам не может прочитать? — удивился я. — Человек сначала думает, а потом говорит. Что же, она сама не знает, о чем думает?

— А вот так, — сказал Сережка. — У нее все может быть. Она мне рассказывала: встанет перед зеркалом, губами шепчет, а сама в зеркало смотрит и ни черта не понимает, что говорит.

— Опять вгешь!

Мы оглянулись: перед нами стояла Софка. В руках она держала пачку печенья.

— Ты же сама рассказывала! — возмутился Сережка.

— Хотела тебя успокоить. Кому печенья?

Сережка обиделся на Софку и не стал брать печенья, и я тоже не стал — неудобно было.

— А Севка всем придумывает прозвища, — сказал Сережка.

— И мне пгидумав? — спросила Софка.

— Ящерица, — сказал я.

Минуту они молчали. Потом Сережка сказал:

— Сила прозвище!

— Ничего, — согласилась Софка.

— Давай печенье, — сказал Сережка.

Он взял сразу три печенья и стал их жевать.

— А ты? — спросила Софка.

— Я есть не хочу, — соврал я.

— Печенье — это не еда, — сказала Софка. — На, дегжи всю пачку, а я понесу твою вазу.

— Смотри не разбей, — предупредил ее Сережка. — Это он одному человеку привез.

— Ты за кого меня пгинимаешь? — спросила Софка. — За квадгатную дугу?

Я никогда не слышал, чтобы говорили «квадратная» дура. Всегда говорят «круглая» дура. А тут «квадратная».

— Ну ладно, — сказал Сережка. — Ты что-нибудь придумала?

— Сейчас, — сказала Софка.

Софка шла впереди, в руках у нее была ваза. Я посмотрел на вазу со стороны. Смешная она и веселая. Я даже к ней привык, и она мне нравилась.

Софка что-то шептала себе под нос.

— Чего это она? — тихо спросил я.

— Думает, — ответил Сережка. — Она, когда думает, всегда под нос читает стишок. Она в актрисы целит, а там без букв «л» и «р» нельзя. Где-то достала стишок и тренируется. Ей сказали: как научишься читать этот стишок, так возьмут в актрисы. А она упорная. «Шит колпак не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски. Надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать, надо колокол переколоковать, перевыколоковать». Это ее стишок.

— Язык сломаешь, — сказал я.

— Сломаешь. Но она упорная.

Вдруг Софка оглянулась и сказала:

— Пгидумава. Сейчас зайдем к нему и скажем: собигаем бумагу. Ну, и поговогим о чем надо.

— Силища! — обрадовался Сережка.

А я промолчал. Ходил, как во сне. Точно все то, что происходило, было не со мной, а с кем-то другим. Точно не я сбежал с поезда, не я обманул Наташу, подвел Шерстнева, точно не я искал встречи с отцом, а кто-то другой.

Мы вошли в подъезд, сели в лифт.

— Чуг, я нажимаю кнопку, — сказала Софка.

Она нажала кнопку десятого этажа, хотя нам надо было на пятый. Сережка невозмутимо стоял в углу.

— Почему ты нажала на десятый? — спросил я. — Ведь он живет на пятом.

— Гвупо ехать до пятого в десятиэтажном доме, — ответила Софка. — Доедем до десятого, потом спустимся до пятого.

Мы ехали в лифте. Я в своей жизни первый раз. Он мягко скользил вверх, щелкая на этажах. Потом остановился. Софка нажала кнопку пятого этажа, и мы поехали вниз.

Вышли на лестничную площадку, и я даже не успел опомниться, как Софка без всякой подготовки позвонила в сто восемьдесят пятую квартиру.

Он открыл нам на второй звонок. Одна щека у него была в мыле, он брился. Сразу было видно, что он торопился.

— А, знакомая братия. Ну, в чем дело?

— Мы за макуватугой, — сказала Софка.

— За чем? — переспросил он.

— За стагой бумагой, — поправилась Софка.

— Нет у меня бумаги, — сказал он.

Но Софка — это не Сережка, от нее не так легко было отделаться.

— А у ваших соседей тоже нет стагих газет? — спросила она.

— Их нет дома. Давай, давай шагайте дальше! — Он захлопнул дверь перед нашим носом.

— В пвохом настгоении, — сказала Софка. — Ну ничего.

Сережка совсем приуныл, и я тоже здорово приуныл. А Софка снова нажала кнопку. Он открыл дверь, и раньше, чем он успел возмутиться, она прямо выпалила в него:

— Госудагству нужна бумага, а вы не хотите помочь!

— Ну ладно, входите. — Он посмотрел на часы. — Проходите в комнату. Я добреюсь.

Мы вошли в комнату. У него была самая обыкновенная комната: стояли кровать, стол и один стул. А вещи висели на двери, они были прикрыты простыней. На стене около окна висело зеркало, а под зеркалом портреты двух женщин. Я подошел поближе, чтобы их рассмотреть.

— Агтистки кино, — сказала Софка. — Из жугнава выгезаны.

Наконец он вернулся. Он был чисто выбрит и аккуратно причесан. Подошел к зеркалу, чтобы полюбоваться собой.

Видно, он себе понравился, потому что замурлыкал под нос песню: «А у нас во дворе есть девчонка одна...» Я эту песню отлично знаю, у нас ее в совхозе все поют.

Он посмотрел впервые прямо мне ■ лицо и спросил:

— С пополнением?

— Приезжий, — вдруг сказал Сережка.

У меня все как запрыгало перед глазами: Софка, Сережка, он и эти две женщины, которых он вырезал из журнала и повесил на стене. Я отвернулся, нарочно отвернулся. Думал, успокоюсь, повернусь к нему лицом, а он... Когда я поставил вазу и оглянулся, он уже забыл обо мне. Спросил, кто да что, а ответа толком не дождался: приезжий так приезжий. В общем, он был из тех, которые спрашивают: «Как у вас дела?», хотя им совсем это неинтересно.

— «А у нас во дворе есть девчонка одна...» — снова запел он ■ повеселевшим голосом спросил: — Значит, государству нужна бумага? — Что он так развеселился, непонятно было. — Что ж, сейчас будет бумага.

Вышел из комнаты и вернулся с пачкой старых газет. Снова вышел и снова вернулся: бросил на пол еще пачку.

— Государству нужна бумага, — сказал он. — Пожалуйста.

— Неплохой урожай, — заметил Сережка.

— А у вас вегевки есть? — спросила Софка. — Мы бы сейчас всё связави и унесви.

— Веревки? Это мы сейчас организуем. — Он опять вышел.

— Давай начинай, — сказала Софка.

Я промолчал.

— Ты видишь, он волнуется, — сказал Сережка.

— Лучше я ему записку напишу.

Я оторвал от газеты длинную полоску бумаги и быстро написал: «Это тебе подарок от мамы. Твой сын Севка».

Я очень торопился, боялся, что он зайдет. Сложил записку в комочек и положил в карман.

— А где ты ее оставишь? — спросил Сережка.

И в это время он вернулся в комнату. В руках у него была веревка.

— Дядя Миша, а вам негавится эта ваза? — вдруг спросила Софка.

— Ваза? Для ребятишек неплохо.

— Это я одному человеку в подарок привез, — сказал я. Голос у меня был какой-то странный.

Он разорвал веревку на три куска и протянул нам.

Софка и Сережка тут же стали связывать газеты. А я как дурак стоял в центре комнаты: в одной руке у меня была пачка с печеньем, в другой — веревка.

— Ты что на меня уставился? — спросил он.

— Я? Просто так.

— Экий ты, брат, неловкий! Дай сюда твоё печенье. — Он взял у меня коробку с печеньем и слегка при этом коснулся моей руки. — И в пачке у тебя нет ни одного печенья, а ты за нее держишься.

А я даже не заметил, как съел всё печенье.

— Он сегодня ничего не ел с утра, — сказал Сережка. — Он ведь проездом в Москве. Сегодня уезжает.

— А чего же он тогда с вами болтается?

— Ради компании, — сказал я.

— Ну, давайте, ребята, давайте побыстрее! — сказал он. — Мне надо уходить.

А мне наплевать на это, плевать мне на то, что тебе надо уходить! Я стою с тобой рядом, я ради тебя сбежал с поезда, а ты меня выгоняешь. А еще отец! Ну и уходи. А я сейчас соберусь и уеду и больше никогда-никогда не приеду. А в вазу брошу записку. А потом, может быть, ты когда-нибудь заглянешь на дно вазы и прочитаешь записку: вот тогда тебе будет стыдно.

Я изо всех сил старался, мне хотелось, чтобы мой пакет был самый увесистый. Я натянул веревку покрепче, и она лопнула. Мне снова стало жарко, я почувствовал, что он мне

смотрит прямо в затылок. Прямо прожигает его насквозь, а я ползал по полу, собирая эти несчастные старые газеты, потому что государству нужна бумага, а мне очень нужен отец.

— Ну-ка, дай я тебе помогу. — Голос у него стал какой-то другой. Я бы сказал, что голос у него стал поласковей. — У тебя что-то не ладится.

— У меня? — спросил я. — У меня-то все ладится.

Я поднял сверток и понес к выходу, даже не оглянувшись на него. Нечего мне было на него оглядываться. Потом незаметно бросил записку в вазу.

У двери я на секунду остановился, ждал, что он меня окликнет, что ли. Но он меня не окликнул, и я ушел, а моя ваза с запиской на дне осталась у него в комнате.

На лестнице меня догнали Софка и Сережка.

— Ты чего так быстро ушел? — сказал Сережка. — Можно было еще немного посидеть.

Я промолчал. Нечего мне было говорить.

— Ты не пегеживай, — вдруг стала успокаивать Софка. — Не поговогив — и не надо. Вазу ты ведь оставив?

— Вазу? А вазу я вез другому человеку. А теперь вот провозился с ним и больше никуда не успею. Мне бы на поезд не опоздать. С Курского вокзала поезд отходит.

— А ты нам оставь адрес того человека, — сказал Сережка. — Мы ему отнесем твою вазу.

— Ладно! — отмахнулся я.

У меня сильно щипало в горле, и трудно было разговаривать. Я боялся заплакать. Они тогда могут подумать, эти всезнайки-москвичи, что у нас в совхозе все такие плаксы. А они еще не видели наших.

Мы вышли во двор.

— Пожалуй, я пошел, — сказал я.

— Уже? — спросил Сережка. — Ну, прощай!

Мы пожали друг другу руки, потом я пожал руку Софке. Ладошка у нее была длинная и худая. Постояли. Не люблю

я этих расставаний до ужаса. Ведь прощались на всю жизнь. Может быть, никогда больше и не увидимся. Жалко было расставаться.

— Эй, ребята, ребята! (Мы задрали головы. В окне пятого этажа торчал он.) Слушай, парень, ты забыл вазу!..

— Что? — переспросил я.

Я отлично слышал, что он крикнул, но сделал вид, что ничего не понял. Он пропал из окна, потом снова высунулся. В руках у него была моя ваза. Он начал размахивать вазой. Из нее выскочила записка и упала к нашим ногам. Сережка поднял ее и протянул мне, а я тут же запихнул ее в карман.

— Иду! — крикнул я.

Ну что ж, возьму и скажу ему сейчас все. Мне вдруг стало легко и свободно. И непонятно было, как я мог так долго страдать и хитрить, вместо того чтобы сразу все рассказать. Давно бы уже сидели и распивали чай, а потом бы он отвез меня на вокзал и я его познакомил с Наташей и Гелием.

Позвонил. Думаю, сейчас он откроет дверь, а я ему: так, мол, и так, принимай гостей. И тут он мне открыл... Я даже его сразу не узнал, так он преобразился, совсем какой-то другой. В новеньком костюме, в белой рубашке при галстукке, точно тракторист на свадьбе. Да что там тракторист, настоящий артист из заграничного кино!

— Нехорошо чужие вещи забывать, — сказал он. — Тебе доверили, а ты забыл.

Он еще поучал меня. Ну ладно, ладно, сейчас я тебе скажу, кто я, тогда ты не так заговоришь. Тогда я смогу тебе сделать несколько замечаний о твоей наблюдательности. Например, о том, что у тебя и у меня одинаковые брови и носы, а ты этого не замечаешь. Тебе даже в голову не приходит, что я твой сын.

А может быть, ты на самом деле забыл, что у тебя есть жена и сын? Может быть, ты не обрадуешься, когда узна-

ешь, кто я? Ты ведь собрался в гости, что ли, а я тебе помещал? Придется возиться со мной и разыгрывать радость.

Почему-то я никогда раньше об этом не думал. А вдруг действительно ему не до меня?

— Как тебя зовут? — спросил он.

— Мишка, — соврал я.

Нет, прежде чем ему все выкладывать, надо разобраться в нем.

— Тезка, значит, — сказал он.

Пожалуйста, пусть будет так. Я успокоился и врал очень ловко. Совсем не волновался.

— А откуда ты приехал?

— С Алтая.

— С Алтая? — У него в голосе появилась какая-то заинтересованность. — Значит, мы с тобой не только тезки, но и земляки. Где же ты там живешь?

— Под Барнаулом, в совхозе, — снова соврал я.

— Я тоже жил в совхозе, только далековато от Барнаула, — сказал он. — Но все равно, мы с тобой вроде как земляки. Восемь лет не был в тех краях...

Я все ждал, что он вспомнит меня и мать. А он не вспоминал, точно мы у него совсем выскочили из головы.

— Может быть, слышал про совхоз «Новый»? — спросил он.

— Про «Новый»? Слышал. Недавно в газете писали о вашем директоре совхоза.

— Про Шерстнева? Значит, работает. — Он засмеялся. — «Руки буду целовать, когда увижу...» «Международный скандал...» Это любимые изречения Шерстнева. Забавный мужик! Мой лучший друг. Предлагал остаться его заместителем. А я отказался, в Москву потянуло. Надо было в институт податься.

«Шерстнев его лучший друг? — подумал я. — Здорово придумал. Может, он еще скажет, что тот собирался ему руки целовать за то, что отморозил из-за него пальцы на ноге?»

— Ну, я пошел,— сказал я.— И вам тоже, вероятно, пора...

— Подожди, подожди, не каждый день земляка встречаешь,— сказал он и почти силой усадил меня на стул.— А я не тороплюсь, я все равно жду телефонного звонка... Я самый «старый» целинник. По первой целине трактор водил, вместе с Шерстневым первую палатку ставил. Ух и поработали мы тогда, а зимой померзли. Палатки насквозь продувались ветрами. Многие тогда спасовали, а я нет. А ведь я жил не один: сынишка у меня тогда был совсем маленький...

Он так и сказал: «Сынишка у меня тогда был совсем маленький...» Он так и сказал, а я-то думал, что он напрочь забыл обо мне.

— А где же ваш сын теперь? — спросил я.

— С матерью уехал погостить к родственникам,— сказал он.— Да, на целине меня каждый знает.— Лицо у него оживилось, щеки покраснели, весь он подобрался и стал торопливо и радостно шагать, размахивать руками, как какой-нибудь капитан дальнего плавания на капитанском мостике.— Ты спроси у нас в совхозе: кто помнит Щеглова? И каждый тебе о нем расскажет. Да что там в совхозе! Во всем районе меня знали и уважали. Вот был такой случай. Зимой несколько парней, трактористов, спасовали. Надоело им, и они решили уйти. А как уйдешь? Только на тракторе, степь вся ведь под снегом. Они выбрали время, когда не было Шерстнева, и стали собираться. Я узнал об этом, сынишку на руки—и за ними. Догнал, говорю: не вернетесь, мальчишку заморозим, и вам тогда плохо придется. Вернул их... Уж кто-кто, а я заслужил, чтобы меня помнили!

Я-то прекрасно знал эту историю, он мог ее не рассказывать. Я от Шерстнева ее знал. Только за трактористами в погоню со мной на руках бросился совсем не он, а мать.

Стало скучно-скучно, и было непонятно, зачем я здесь рассиживаюсь, когда на вокзале меня ждут не дождутся

Наташа и Гелий. И этот человек, который прохаживался по комнате в новых скрипучих туфлях и так лихо врал, мне был не нужен.

Он подошел к двери и открыл ее.

— Показалось, что кошка мяучит под дверью, — сказал он.

А это мяукал я, он врал, а я мяукал и даже сам не заметил. Нет, мне пора было отсюда уходить.

— У меня поезд через час, — сказал я. — Уезжаю в Артек.

— Обидно, — сказал он. — Я бы тебя проводил, не каждый день земляка встречаешь, отвез бы на мотоцикле на вокзал, да вот жду звонка.

— Ничего, — ответил я. — На метро доеду.

Не хватало только, чтобы он меня на своей старой посудине отвозил на вокзал! А там его увидят Наташа и Гелий, и начнется история...

— На обратном пути загляни. Я задумал купить «Москвича». Могучая штука. В мотор введу одну хитрую реконструкцию, это между нами, будет тянуть на двести километров. Покатаю тебя с ветерком.

Я взял вазу и встал. Мы вышли на лестничную площадку.

— Подожди, — сказал он и вызвал лифт. — А ты заезжай на обратном пути, и вместе махнем на Алтай. Вот все удивятся, когда я приеду!..

Я посмотрел ему в лицо, оно стало какое-то другое. В общем, это был не тот человек, который только что рассказывал по комнате. Он вдруг сник, как-то робко сказал: «Вот удивятся все, когда я приеду...» Я подумал о матери, и он, по-моему, тоже подумал о ней. Странно это было: стоят два человека, отец и сын, и думают об одном и том же, а между ними такая пропасть, которую никак нельзя преодолеть.

Пришел лифт. Он открыл мне дверцу. Он стоял и смотрел на меня сквозь решетку.

— Нажми третью кнопку снизу, — сказал он.

Я нажал, ■ лифт тронулся. Сначала пропало его лицо, потом я увидел галстук, потом черные узконосые ботинки. И он исчез. А я стоял в лифте, и в руках у меня была ваза. Лифт щелкнул на четвертом этаже, на третьем, на втором и остановился на первом.

Софка и Сережка стояли на том же месте.

— Ну как? — спросила Софка.

— Нормально, — ответил я. — Вазу я вам оставляю, а на обратном пути заберу.

— Вот это ты правильно решил, — сказал Сережка. — Ты нам напиши, а мы тебя встретим и проводим.

— Мне пора, — сказал я.

— А мы с тобой дойдем до автобуса, — сказала Софка. — Давай мне вазу.

У автобуса мы распрощались. Я вскочил в автобус, взял билет по всем правилам и сел у открытого окна. А под окном стояли Софка и Сережка. В руках у Софки была моя ваза.

Автобус тронулся, и дом на проспекте Вернадского остался позади, и квартира сто восемьдесят пять тоже осталась позади, и моя ваза осталась позади.

От всей этой истории сохранилась только записка, которую я написал ему. Она лежала маленьким твердым комочком у меня в кармане.

И больше ничего не осталось.

14

Мы снова в поезде. Ребята давно уже спят, а я стою у окна. И в окно-то ничего не видно: темнота. Только иногда мелькает одинокая лампочка, и снова темнота.

Наташа ходит по коридору и заглядывает в купе — сторожит ребят, боится, чтобы кто-нибудь не упал с верхней полки.

А я смотрю в темноту и вспоминаю сегодняшний день.

И всех людей, которых я встретил на своем пути: и водителя троллейбуса, и учительницу немецкого языка, и старика на скамейке, и балерину, и женщину из справочного, и Федорова, и студентов, которые приглашали меня в кафе «Космос», и, конечно, однорукого, и Софку, и Сережку. Всех, всех вспомнил и перебрал в памяти, и для каждого из них у меня нашлось какое-то слово.

А для него нет. Думал: он мой отец, а я ничего не могу ему сказать. Решил вспомнить все те истории, которые я раньше придумывал о нем, но мне не захотелось их вспоминать. Ненужные, пустые какие-то истории. Из них каши не сваришь.

Теперь я понял, почему мать так тяжело вздыхала, когда я врал. Она боялась, что я стану таким же легкомысленным и ненадежным, как он. Когда он рассказывал про то, как мы жили на целине в первую зиму, я даже испугался. Он говорил моими словами: «Я самый «старый» целинник», «Уж кто-кто, а я-то заслужил, чтобы меня помнили», хотя мы с ним никогда раньше об этом не разговаривали.

Вот такая история получилась.. Скажете, невеселая? Конечно, особенного веселья в ней нет, это точно. Но все равно я почему-то чувствую себя лучше, чем раньше, когда я его не знал.

А потом, он ведь сказал, что собирается к нам вернуться. Ну, не прямо так сказал, а все же было понятно, что он об этом думает.

И тут у меня снова появилась маленькая надежда, ну, как далекий огонек в степи, до которого идешь, идешь, а он все удаляется, удаляется... А потом вдруг перестает удаляться, и ты до него доходишь.

И он, мой отец, для меня, как слабый огонек. Когда-нибудь я дойду до него.



КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ

1

В тот день, когда началась вся эта путаница, эта история, из-за которой я так прославился в школе, я вышел из дому позже обычного.

Все утро я «танцевал» вокруг матери, ждал, когда она без моих вопросов скажет, где вчера пропадала допоздна, но она почему-то молчала. Раньше если она где-нибудь задерживалась, то всегда, еще стоя на пороге в пальто, начинала докладывать, почему опоздала. А вчера она промолчала и сегодня продолжала играть в молчанку.

Я выскочил из дому и понесся галопом по Арбату. Хорошо еще, что в это время на улице нет дневной толчеи и мож-

но бежать без особых помех. Никому ты не попадаешь под ноги, никто не толкает тебя в спину. И машин мало, ■ даже в воздухе еще не пахнет бензином.

Наша школа находится в переулке. А сам я живу на всемирно известном московском Арбате, рядом с домом, на котором висит серая мраморная доска с указанием, что здесь в 1831 году жил Александр Сергеевич Пушкин.

Раньше я пробегал мимо этого дома в день по сто пятьдесят раз и не замечал надписи. Жил целых тринадцать лет и не замечал. А тут, в конце прошлого года, к нам пришел новый учитель по литературе и спросил меня как-то, где я живу. Я ответил. А он говорит: «Знаю, это рядом с домом Пушкина». Я как дурачок переспросил: «Какого Пушкина?» Вроде бы у нас с ним общих знакомых с такой фамилией нет. «Александра Сергеевича, — говорит он. — Того самого, главного... Ты, когда сегодня пойдешь домой, сделай одолжение, подыми голову и прочитай на доме пятьдесят три надпись на мемориальной доске».

Я потом около этой доски час простоял, глазам своим не верил. И представьте, ее повесили еще до моего рождения. Полное отсутствие наблюдательности.

А учитель симпатичный оказался, Федор Федорович, мы его зовем сокращенно Эфэф, и фамилия у него смешная: Долгоносик... Сам литератор, а фамилия зоологическая. То есть сначала он мне совсем не показался, потому что у него на каждый случай жизни припасена цитата из классической литературы, и мне это не понравилось. Что у него, своих слов нет, что ли! Но потом я разобрался, и это мне даже стало нравиться. Он как скажет какую-нибудь цитату, так и поставит точку. Коротко, и объяснять ничего не надо. И еще: когда он говорил эти цитаты, то волновался, а не просто шпарил наизусть. В общем, настоящий комик.

Сейчас все скажут, что про учителей нельзя так говорить, что они люди серьезные, а не комики. Но я говорю не в том смысле, что он смешной, какой-нибудь там хохотун

вроде циркового клоуна. Наоборот, он редко смеется, хотя еще довольно молодой и не усталый, а комик в том смысле, что он какой-то необычный человек. А для меня все необычные — комики. И слова он особенные знает, и умеет слушать других, и не лезет в душу, если тебе этого не хочется. ■ глаза у него пристальные — разговаривая, он никогда не смотрит в сторону.

Ну, в общем, мы здорово с ним подружились, и я к нему часто забегал, в его «одиночку». Так он называет свою однокомнатную квартирку.

И в этой истории он мне здорово помог, как настоящий друг, а то после скандала с кладом меня прямо поедом ели. Проходу не давали. А он меня поддержал. Как-то толково объяснил, чего надо стесняться в жизни, а чего — нет. И я ему поверил, и это меня, можно сказать, спасло.

Собственно, все началось из-за клада.

Нет, все началось из-за Ивана Кулакова.

Нет, все началось, пожалуй, из-за матери.

А может быть, из-за того, что я люблю воображать, придумывать то, чего никак не должно быть.

2

Я бежал до самой школы и прибежал, как всегда, ровно за пять минут до звонка.

Влетел в класс и вдруг увидел: на первой парте в моем ряду сидят сразу двое новеньких: он и она. Парень и девушка.

Парень обыкновенный, а девчонка рыжая-рыжая. Волосы у нее перепутаны. Не голова, а куст смородины. Сидят и мило беседуют.

Не знаю, как кто, а я люблю, когда появляются новенькие, потому что они пришли неизвестно откуда и это интересно.

Иду прямо к своему месту, а глаза влево, влево, влево —

на новичков. У меня даже от этого голова закружилась. И тут ко мне сразу подскочила Ленка Попова. Я насторожился: от нее ничего хорошего не жди.

— Здравствуйте,— пропела она сладким голоском.— С чем пожаловали? — А говорит нарочно громко-громко. Совершенно ясно, что играет на новичков.

«С чем пожаловали?» — какой милый вопросик, просто оригиналка... Мы-то известно с чем пожаловали: с портфелем, в котором сложены учебники и тетради. А вы-то чего так орете? И тут я вспомнил, что в этом самом портфеле, с которым я только что пожаловал, лежит тетрадка по алгебре с нерешенной задачей...

Достал тетрадь, чтобы решить эту задачу. А Ленка не уходит, вертится и крутится возле меня.

— Хочешь, дам списать задачку? — заорала она снова на весь класс.

Рыжая оглянулась.

— Хочу,— ответил я.

Ленка бросилась к своей парте, достала тетрадь и услужливо протянула мне. Это было совершенно на нее не похоже. И тут я увидел, что она отрезала косы. Гром и молния! Еще вчера была с косами, а сегодня короткие волосы.

— Ты что это? — спросил я.

Просто так спросил, из вежливости.

— Ничего.— Притворяется, что ничего особенного не случилось, любит она из себя строить актрису.

— А где косы?

— В век атома и нейлона,— сказала Ленка, и опять громко-громко, чтобы эти новенькие обратили на нее внимание,— косы только мешают.

Конечно, мне было наплевать на ее косы. Девчонка с косами, девчонка без кос, не все ли равно, но просто неожиданно все это. Знаешь человека сто лет, как я Ленку, и вдруг он является в совершенно новом виде. Тоненькая, длинная шея, маленькие уши торчком.

— Ты их совсем остригла?

— Нет, на время, — ответила она. — Завтра приду с косами, — и засмеялась, что подловила меня.

Я видел, как новая улыбнулась и сказала что-то соседу. Видно, ей понравилась острота этой актрисули. Все они одного поля ягоды. Рыжая оглянулась второй раз, и я на нее так посмотрел, что, думаю, у нее надолго отпала охота оглядываться. Если захочу, я умею посмотреть — заерзаешь. Хоть она и новенькая, а пускай знает свое место. А ты, Лечка, у меня еще попляшешь, мало я тебя таскал за косы, теперь потаскаю за короткие волосы.

Хотел тут же вернуть ей тетрадь с задачкой. Решил подойти, бросить тетрадь и заорать на весь класс: «Оказывается, я сделал задачку сам... — И добавить: — А без кос, между прочим, ты просто селедка...»

Я уже встал, чтобы осуществить свой план, но потом передумал. Неохота было связываться.

Тут последняя минута проскочила, точно одна секунда, и зазвенел звонок. Вошел Эфэф.

Он всегда входит стремительно, оглядит класс и скажет: «Не будем терять даром времени». Но сегодня у нас урок классного руководства. На этом уроке Эфэф разрешает говорить что хочешь. Можно шутить и нести всякую чепуховину, можно задавать любые вопросы.

Сразу за Эфэф ■ класс влетел Рябов. Его все зовут Курочка Ряба. Он хоть и мой сосед по парте — Эфэф почему-то посадил нас вместе, — но люди мы разные.

— Почему ты опять опоздал? — спросил Эфэф.

— Понимаете, Федор Федорович, — сказал Рябов, — задумался и проехал одну лишнюю остановку.

Он начал притворяться, что говорит чистую правду, а на самом деле врал и кривлялся.

— Что это ты, Рябов, стал привирать, — сказал Эфэф. — Раньше я за тобой этого не замечал.

Он сделал ударение на слове «этого». Значит, кое-что

другое, что ему не очень нравилось, он за ним замечал. Видно, намекал на то, что Рябов — зубрила и остряк-подпевала. Конечно, это никому не может понравиться.

Эфэф склонился к своей старой солдатской полевой сумке, которая ему досталась в наследство от отца, ■ все при-молкли ■ вытянули шеи.

И я вытянул шею: раз Эфэф полез в сумку, значит, будет дело. У него там такие вещички лежат — закачаешься. Он, например, однажды на уроке русского языка, когда всем до чертиков надоели разговоры об однородных членах предложения, вытащил из сумки какую-то тоненькую потрепанную книжонку и без всяких слов предупреждения стал ее читать.

Я до сих пор помню, как Эфэф ее читал, без выражения, тихо, однообразно, точно не читал, а рассказывал то, что видел сам. А потом, когда закончил, сказал: «Солдата, который написал эту книжку, уже нет в живых. — И в сердцах с обидой добавил: — Рановато он умер».

Книжка пошла по рядам, и каждый ее рассматривал, а когда она дошла до меня, я открыл ее и прочел: «Эм. Казакевич. Звезда». А ниже от руки было написано: «Товарищу по землянке». И стояла подпись автора. Это отец Эфэф был товарищем по землянке. Да, настоящая это была книжка, вся правда про то, как воевали, и про то, как погибали. Может быть, кто-нибудь ее не читал, так советую прочитать.

Наконец Эфэф перестал копаться в своей исторической сумке и, к общему разочарованию, вытащил оттуда обыкновенную ученическую тетрадку в двенадцать листков.

— Вот тебе тетрадь, Рябов, — сказал он. — Будешь в нее записывать, сколько раз соврал.

Он не любил вралей. Он и другим уже давал такие тетради, но никогда потом про них не спрашивал. Дал тетрадь, и все, а дальше поступай как хочешь.

— Неплохо выпутался, — сказал Рябов, когда опустился за парту рядом со мной. — Думал, старик меня не впустит.

Я ничего ему не ответил, потому что Эфэф подошел к новеньким и поздоровался.

Новенькие встали.

— Как вас величают? — спросил Эфэф.

— Кулаковы, — сказала рыжая. — Его Иван, а меня Тоша. — Она говорила медленно и совсем не волновалась. — Мы брат и сестра.

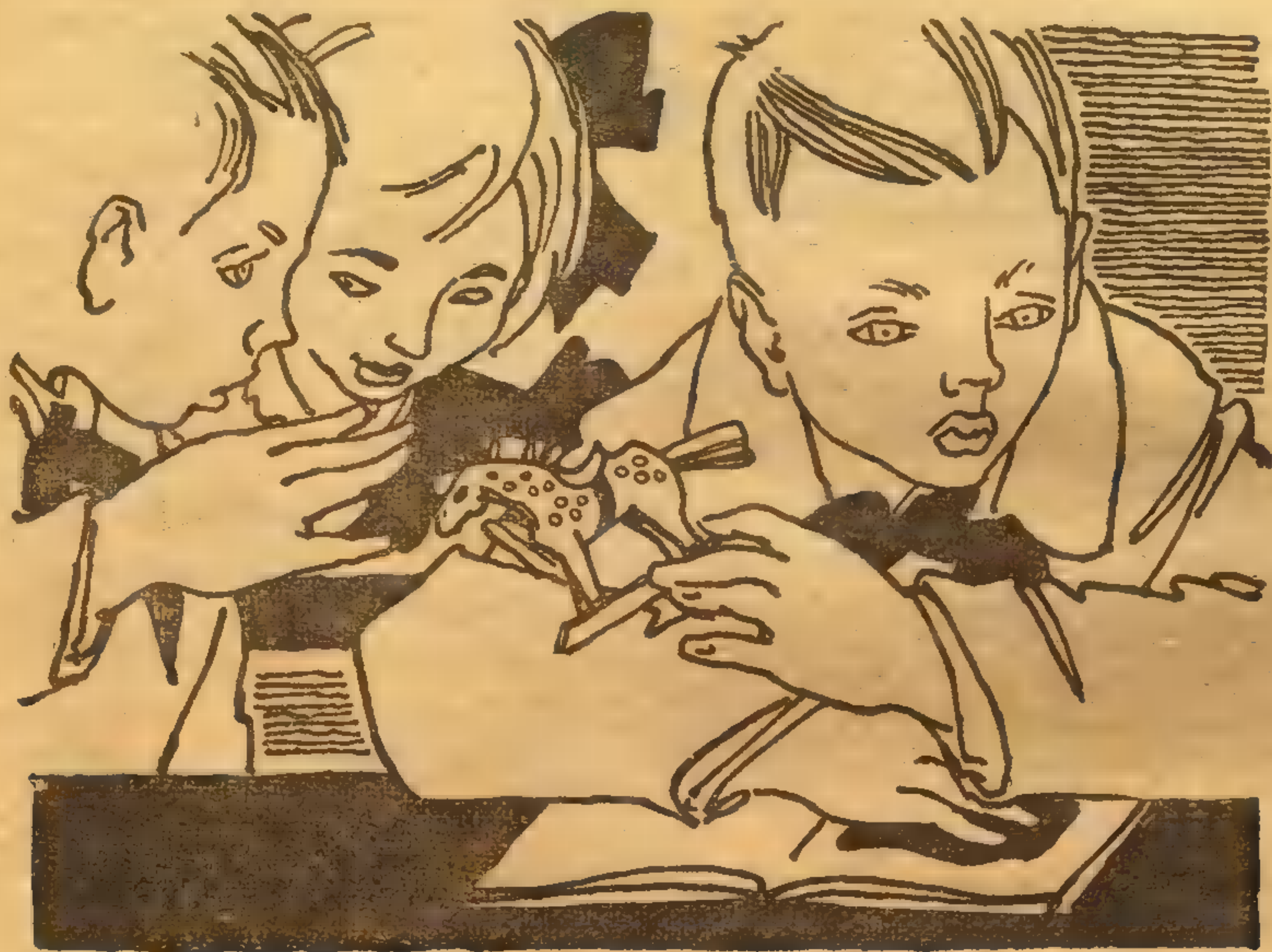
Ох и длинный он оказался, этот Иван Кулаков! На голову выше своей сестры.

— Ну что ж, садитесь, Кулаковы, брат и сестра, надеюсь, мы будем с вами дружить... Брат и сестра, брат и сестра... — У него была привычка повторять то, что ему только что сказали, по нескольку раз.

Я же говорю — комик, повторяет одни и те же слова, а сам в это время думает, вероятно, про новеньких, и они уже навсегда занимают какое-то место в его голове. Он теперь об этих Кулаковых будет думать, может быть, до самого вечера, хотя еще ничего про них не знает. Он всегда так. Он мне как-то сознался, что любит думать больше про незнакомых, чем про знакомых. Про знакомых все знаешь, а про незнакомых можешь придумать то, что тебе хочется.

Я теперь тоже часто, как он, думаю про незнакомых. Раньше я всегда думал про деда, да про мать, да про свой класс, и все. А теперь я увижу какого-нибудь случайного паренька на улице, какого-нибудь симпатичного великана, вроде этого новенького, Ивана Кулакова, и целый день про него думаю, и представляю, что он стал моим лучшим другом и мне все-все завидуют.

Я задумался про все это и представил себя уже лучшим другом новенького, даже не заметил, как вытащил из кармана детскую игрушку — маленькую деревянную лошадку. Вчера я случайно нашел ее в письменном столе, когда, поджидая мать, рылся в старых вещах. Люблю я рыться в старых вещах и вспоминать всякие забытые случаи из своей жизни, которые уже никогда не повторятся.



Ей было лет восемь, этой лошадке. Мне ее вырезал отец, после того как мы впервые побывали в цирке. Я до этого ни разу не видел живой лошади, ну вот он мне ее и вырезал, чтобы я мог с ней играть в цирк и вспоминать, как мы вместе туда ходили.

А тут Рябов нагнулся и выхватил у меня игрушку.

— Отдай,— тихо сказал я.

— Не отдам,— ответил Рябов. В это время к нам подошел Эфэф, и он добавил: — Сиди и слушай Федора Федоровича.

Ах, какой он был дисциплинированный! Схватил чужую вещь и еще выставлялся.

— В чем дело? — спросил Эфэф.

— Вот,— сказал Рябов и протянул мою игрушку.

Все тут же уставились на нас: очень им было интересно посмотреть, что такое держит Эфэф в руках.

— Маленький, маленький мальчик, — сострил Рябов. — Ему в классе скучно, и он принес с собой игрушку.

Все засмеялись. И новенькие тоже повернулись в мою сторону, только они не засмеялись. На всякий случай держали нейтралитет. А все остальные смеялись. В нашем классе умеют посмеяться, даже когда не надо.

Эфэф молча отдал мне лошадку. Он тоже не смеялся. Он не любил, когда перед ним выслуживаются, — у некоторых учителей это проходит, но не у Эфэф.

Но тут вскочила Зинка Сулоева и сказала:

— Федор Федорович, а Лена остригла косы.

И все сразу переключились на Ленку и забыли про меня. Наконец-то она добилась своего: все-все смотрели на нее. А главное — эти Кулаковы!

— В век атома и нейлона романтические косы ни к чему, — вставил я. — И вообще голову надо развивать, а не завивать.

Я заметил, что Эфэф чуть подобрал губы, он всегда так делает, когда чем-нибудь недоволен. Потом он посмотрел на Ленку, потом на меня. Какие-то у него были странные глаза: они не видели меня, хотя смотрели в упор.

Он сказал громко и так медленно:

Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Как это «не властны мы в самих себе...»? Странные стихи.

На перемене ко мне подскочила Зинка и своим таинственным телепатическим голосом прошептала:

— Дай твою руку, и я догадаюсь, о чем ты сейчас думаешь, — и схватила меня за руку.

А я, точно по какому-то гипнотическому приказу, подумал об этой рыжей, об этой новенькой. А Зинка страшный

человек. На вид обыкновенная толстуха, но иногда на нее находит, и она угадывает чужие мысли. Или мы в классе спрячем какой-нибудь предмет, а она находит его.

Пришлось довольно грубо вырвать у нее руку. Мне эти таинственные штучки были сейчас ни к чему.

— А я догадалась и так! — закричала Зинка.

— Ну чего ты кричишь? — сказал я тихо. — Подумаешь... — И добавил многозначительно: — Неизвестно еще, что и как...

— А мне известно, а мне известно!.. — закричала снова Зинка уже совсем не телепатическим голосом, захохотала и выскочила из класса.

3

После уроков прибежал наш вожатый, десятиклассник Борис Капустин. Он возится с нами пятый год, еще со второго класса, и без конца таскает нас по каким-то биологическим музеям и промышленным выставкам, а один раз водил в институт. Там делали операцию собаке не хирургическим ножом, а лучом лазера. И потом целый час продержал нас на морозе, доказывая, что это была совершенно особенная операция. Луч лазера, рассекая кровеносные сосуды, закупоривает их, получается операция без крови. А когда его кто-то перебил, он сказал, что наша компания ему надоела до макушки и что он мечтает поскорее кончить школу, чтобы избавиться от нас.

Он и правда собирался за один год два класса проскочить — не разрешили. Он в министерство гонял, там тоже оказались консерваторы. И Эфэф за него хлопотал, ничего не помогло. Ему сказали, что «закон есть закон», и точка. А то все начнут прыгать через класс, и в школах еще больше будет путаницы.

Смешно, как будто все люди одинаковые: ведь одни могут прыгать в год через два класса, а другие — за два года

одного класса не могут одолеть, и им учителя с тоской тройки выставляют. Это же ни для кого не секрет.

Ну, в общем, влетел Капустин в класс, прогремел своими железными коробками, которыми он вечно набивает карманы. Он в них таскает всякую живность. И заорал:

— Братцы, выберем звеньевых! Только в современном темпе. Как говорят американцы: «стресс» и «тенш», что значит «давление» и «напряжение».

Сначала образовали четыре звена. И я попал в четвертое. А потом Борис сказал:

— Всем, кто не попал в первые четыре звена, встать.

Встали: Рябов, Ленка, Зинка-телепатка и двое новеньких.

Неплохая компания подобралась...

Этот Иван Кулаков посмотрел на меня и улыбнулся. Не кому-нибудь улыбнулся, не остряку Рябову и даже не расстриге Ленке, а мне. И я ему, конечно, улыбнулся и встал, как будто я еще не попал ни в какое звено.

— А ты чего встал? — спросил Борис.

Я промолчал. Не скажешь ведь, что, по-моему, Кулаков хороший парень и я хочу быть с ним в одном звене. Борис внимательно оглядел всех стоящих, понимающе хмыкнул — каждому человеку приятно догадаться — и сказал:

— А звеньевых выберете сами. — Он уже вскочил, чтобы уйти, он уже был на ходу, но что-то грохнуло у него в кармане, и он тут же вытащил здоровую железную коробку из-под монпансье.

Мы окружили его.

Он осторожно открыл коробку: там в горстке земли возился какой-то червяк. Довольно противно так извивался.

Ленка испуганно взвизгнула, а новенькая, эта рыжая, видно бойкая на язычок, сказала:

— Обыкновенный дождевой червяк.

— Не червяк, а лумбрикус террестрис. Интереснейшее существо: создатель чернозема.

Ну ■ тип этот Капустин: «Интереснейшее существо»!

— Мой папа на таких лумбрикусов рыбу ловит,— сказала новенькая и засмеялась. А смех у нее такой ехидный, и глаза тоже издевательски смеялись.

Другая бы на ее месте ни слова не произнесла, а эта даже на Бориса замахнулась. А Борис, тоже размазня, вместо того чтобы сказать ей какое-нибудь «ласковое» слово и мигом осадить — таких надо сразу осаживать,— смутился и торопливо ушел.

А она посмотрела на меня, и я на всякий случай отвернулся. Попадешь еще ей на язык, сделает из тебя посмешище на виду у всех.

Когда Борис ушел, мы сели в угол и выбрали по моему предложению звеньевым Ивана Кулакова. Выбрали единогласно, даже слишком единогласно, потому что Ленка подняла за него две руки.

— Ладно, ребята, я согласен,— сказал Иван.— Только, чур, один за всех и все за одного.— Он записал в тетрадь наши фамилии и добавил: — Для начала запишем, чем занимаются наши родители. Будем по очереди ходить друг к другу, пусть они нам рассказывают про свою работу.

— Ой, как интересно! — сказала Ленка.— Это просто замечательная идея.

— Наш отец летчик-испытатель,— сказал Иван.— Он может рассказать об авиации, а мама врач.

«Ничего себе семейка»,— подумал я.

— У меня отец инженер-конструктор по автомобилям,— сказала Ленка.

— Это нам пригодится,— сказал Иван и посмотрел на Ленку.

Ленка вспыхнула от радости, точно он сказал ей, что она первая красавица в мире, а Тошка довольно громко хихикнула.

— Мой отец электросварщик,— сказала Зинка.— А мама лаборантка.

— Мои предки экономисты, — сказал Рябов.

— А твои? — спросил Иван у меня.

Хорошо бы сейчас их всех сразить и сказать, что мой отец, например, космонавт, а мать — хотя бы заслуженный мастер спорта.

— Мама у меня машинистка, — сказал я.

Они все как-то сразу замолчали, видно, я их разочаровал. Может быть, они меня просто пожалели: мол, у них у всех такие великие отцы и матери, а у меня мама обыкновенная машинистка. А я ненавижу, когда меня жалеют, это у меня от отца: он тоже не любил жалости.

— Она каждый день что-нибудь печатает, — сказал я. — И узнает новое.

— Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. — Это выступил Рябов.

Он посмотрел на Тошку, я заметил, что он все время сверлил ее глазами, и захохотал.

— Остроумная Курочка Ряба, — сказал я. — Снесла яичко не простое, а золотое.

— Слушай, Рябов, это неблагородно, — сказал Иван и выразительно положил Рябову руку на плечо.

— А что? — замелькал Рябов. — Я ничего плохого не думал... Просто решил пошутить... Это же всем известные стихи...

— Больше так не шути, — сказал Иван. — Хорошо?

— Хорошо. Пожалуйста, — сказал Рябов.

Мне, конечно, плевать на шуточки этого остряка, и за себя я могу сам постоять, но все-таки приятно, что этот новичок за меня заступился.

Домой мы возвращались с Иваном Кулаковым. Вблизи он был здорово похож на свою сестру: такие же блестящие глаза и густая шапка волос. Он налетел на меня как ураган.

— Ты мне понравился, — сказал он. — И твоя лошадка понравилась...

Я решил, что он надо мной смеется, поэтому и вспомнил

про лошадку. Видно, они были с сестричкой два сапога пара: любили посмеяться над другими... Надо было что-то сказать ему резкое и обидное, чтобы он не лез в чужие дела, но я не умел придумывать такие слова на ходу. Незаметно покосился на него, и удивительно: его лицо было совершенно серьезно.

— Старая игрушка, — сказал я. — Отец вырезал.

— Я так и подумал, что она дорога тебе как воспоминание, — сказал он. — Ты, видно, мечтатель?.. — Он не дал мне вставить ни одного слова. Трещал, как скорострельный пулемет. Бил бронебойными. Ничего себе стрелок, высший класс. — А я уже нашел свою мечту. Вот в чем наше различие, но все равно я предлагаю тебе дружбу... Согласен?

— Согласен, — сказал я.

Ох, до чего же длинный он был, его подбородок болтался где-то над моей головой. Я отодвинулся, чтобы это было не так заметно. По-моему, он заметил, что я отодвинулся от него, и догадался почему.

— У тебя неплохой рост, — сказал я. — Пожалуй, возьмут в баскетбольную команду. У нас там все такие жирафы.

Он ничуть не обиделся, что я обозвал его «жирафом».

— Рост — ерунда. Самое главное — цель в жизни.

Вот это был человек! Я такого еще никогда не встречал, первый за всю мою жизнь. И мой лучший друг. Ничего себе, повезло.

— А какая у тебя цель в жизни? — спросил я.

— Я буду любить людей, буду стараться делать для них что-нибудь необыкновенное, — сказал он. — И никогда ничего не просить взамен. Как ты думаешь, это выполнимо?

— Не знаю, — ответил я.

Просто я не готов был к этому разговору, сам я никогда об этом не думал и не знал, что ему ответить.

— А я каждый день об этом думаю, — сказал он. — Вот только время медленно тянется. Представляешь, сейчас бы махнуть куда-нибудь на Крайний Север или на Камчатку,

на передовое строительство. А нам всего тринадцать. Жди-поджидай у родителей за спиной. Надоело.

— Да,— сказал я.— Ждать не очень-то интересно.

Мне хотелось узнать что-нибудь про его жизнь: откуда он появился такой? Но неудобно было расспрашивать.

Мы остановились около замечательного нового дома в Плотниковом переулке. Это такой роскошный дом — его знает вся Москва,— широченные окна, балконы под навесами. И оказалось, что он жил в этом доме. Прямо не человек, а какой-то волшебник.

— Зайдем,— сказал он.

И я, конечно, согласился. Да и кто вообще бы на моем месте отказался от такого предложения?

4

Когда я вышел от Кулаковых, был уже шестой час. Самая толкучка на Арбате, потому что после работы все спешат домой. Толкаются беспощадно, а в магазинах — как в метро, когда едут на футбол. Я и на футбол не хожу поэтому, только об этом никому не говорю, а то засмеют: скажут, маленький мальчик, боится, что ему кости поломают. А мне просто не хочется толкаться. И потом, если совсем честно, то, когда я смотрю на футболистов, которые бегают по полю, я всегда думаю о своем. Никак не могу себя заставить следить за игрой.

Иду себе потихоньку, а впереди меня какая-то парочка: он и она. Смотрю в спины этой милой парочки, а сам думаю об Иване. Здорово у него все продумано, а здесь живешь без всякой цели. И вообще-то семейка: отец летчик-испытатель!

И вдруг я услышал, что женщина, которая шла впереди меня с мужчиной, засмеялась. Тут я просто остолбенел, и у меня из головы сразу все выскочило, потому что эта женщина была моей матерью.

Неизвестно, что было делать: подойти или нет. Это был первый случай в моей жизни, когда я встретил маму с мужчиной. Ничего, конечно, особенного, но все же почему-то неприятно. Может быть, потому, что они не просто шли, а гуляли? И мама мне показалась какой-то другой, необычной: даже в походке, даже в том, как она держала голову.

На всякий случай я решил отстать, и теперь они маячили немного впереди меня. Он шел широким, таким довольным, внушительным, размашистым шагом, а мать сыпала рядом с ним. Она тоже маленькая, вроде меня, и худенькая. На девчонку похожа, у нее на носу веснушки. Ее на работе поэтому до сих пор зовут просто Галей, хотя ей тридцать три года.

Они свернули в наш двор, а я, чтобы скоротать время, пока они там будут прощаться, зашел в галантерейный магазин, что находится в бывшем пушкинском доме. Теперь я этот дом хорошо изучил: он небольшой, всего в два этажа. В правом его крыле — квартиры, ■ левом — трикотажный магазин величиной с небольшую комнату. Если туда заходят сразу пять человек, то повернуться нельзя.

Как-то я придумал, что именно здесь, где сейчас находится этот самый крохотный магазинчик, когда-то была комната Пушкина. И после этого я сюда стал заходить. Интересно ведь. Приду и стою. Продавщицы, их всего две, меня уже запомнили. Одна постарше, другая помоложе, у нее на голове башня из волос. Я с ними здороваюсь и даже собирался рассказать им, в каком необыкновенном месте они работают. Возможно, они об этом не знают.

Зашел, встал у окна. Почему-то, когда смотришь в окно, люди кажутся другими, чем они есть на самом деле. Иногда даже знакомых не сразу узнаешь.

Ко мне подошла одна из продавщиц, та, что помоложе, с башней на голове. Она заглянула в окно через мое плечо: мол, интересно, что я там увидел такое особенное.

— Что ты все у нас высматриваешь? — спросила она.

— Я? Ничего...

— Ходят здесь всякие, — сказала она, и все, кто был в магазине, посмотрели в нашу сторону, — а потом с прилавка пропадают вещи.

— Что вы!.. — Хотел ей объяснить, почему я к ним захожу, но тут я понял, что она просто меня обозвала вором, а я еще хотел ей про Пушкина рассказать. — Эх, вы, — сказал я и пошел к выходу.

Потом какая-то сила повернула меня обратно, и я снова подскочил к ней.

— Может быть, вы хотите заглянуть в мой портфель? Пожалуйста. — Открыл перед ней портфель и начал тыкать им ей в лицо. — А может быть, вывернуть вам карманы?.. — Я стал выворачивать перед ней карманы своих брюк и уронил на пол лошадку.

Поднял ее и вышел. Дотащился до нашего двора, вошел в арку и выглянул; они все еще стояли у подъезда и разговаривали. Холодно было стоять: в этой арке вечно сквозняк и пахнет подвалом, а они там беседовали, руками размахивали, смеялись, видно, ударились в воспоминания.

Но вот он наконец оторвался от моей матери. Она скрылась в подъезде, а он прошел мимо все тем же размашистым шагом, что-то напевая себе под нос.

Певец какой, распелся! Не люблю я таких, очень он гладкий и аккуратный и шел по двору без всякого любопытства. И мне, между прочим, чуть по носу рукой не съездил — хорошо, я успел отскочить, — и даже не взглянул в мою сторону.

Я вошел во двор и посмотрел на окна нашей квартиры. Окна как окна. Ничего на них не написано. Отец просил меня: «Береги мать». А как это делать? Неизвестно. Она и вчера, видно, из-за него поздно вернулась домой, а мне ничего не рассказала, хотя мы всегда все выкладываем друг другу. Она любила мне рассказывать и про сослуживцев, и про их семьи. Я никогда никого не видел из ее сослу-

живцев, но всех представлял. А тут она, значит, что-то скрывала от меня.

Двор мне показался коротким: не успел опомниться — и уже стоял перед нашим подъездом. Ноги мои приросли к месту. Может быть, к тому самому месту, где только что стояла мать, где три года назад последний раз прошел отец.

И вдруг я почувствовал плечо отца, меня даже качнуло от того, как он резко и неожиданно прижался ко мне плечом. А теперь его рука обняла меня. Так хорошо, когда на плече его рука!

Он часто ко мне приходит. Первое время это было всегда ночью. Встанет, бывало, в самом тесном углу моей комнаты и стоит. Ему там неудобно, потому что он большой и толстый, а он стоит. Сначала я старался от него отделаться, начинал вспоминать всякие дневные истории, или содержание каких-нибудь книг, или просто пел про себя. Но это не помогало, и тогда я стал с ним разговаривать, вот как сейчас. Одевал его в военные костюмы, нравился он мне в военном, и развешивал на его груди ордена. Он всю войну был на фронте, и у него было много орденов. Его два ордена Отечественной войны и польский «Крест храбрых» до сих пор хранятся у нас, а два ордена Боевого Красного Знамени пришлось отдать в военкомат. Такой порядок. А жалко, мне нравились эти ордена.

Он умер три года назад, и все, может быть, думали, что я его забыл, а он, наоборот, за эти три года крепко засел в моей памяти, и не проходило дня, чтобы я его не вспомнил. Вот и сейчас он шел рядом со мной, и его рука приятно грела мне плечо. Какая у него тяжелая рука — это оттого, что он вырос в семье лесорубов, а на войне был артиллеристом. На таких работах рукам некогда отдыхать.

Пойти посидеть с ним в сквере, где играют малыши. Они там здорово пицат, но мне это не мешает думать.

Мать сидела около окна и читала книгу. Можно было подумать, что она так сидела уже два часа, а можно было подумать, что она схватилась за книгу, когда услышала, что я открываю дверь.

— Ты почему так поздно? — спросила она, а сама трогала пальцами одной руки кончики пальцев на другой. Вечно у нее болят кончики пальцев от клавиш машинки.

Я уже хотел ей ответить, что был у Кулаковых, но тут она выскочила вперед и сказала:

— Я волновалась.

Ловко придумала, сама только что пришла и обо мне-то, может быть, не помнила, а говорит: «Я волновалась». Повернулся и пошел в ванную. Что-то ведь надо было делать. Пришел в ванную и начал мыть руки, три раза намылил, все старался придумать, как же мне поступить.

Ужас до чего я нерешительный и жалостливый. Я поэтому всегда во все игры проигрываю, в шахматы, например, потому что мне жалко противника.

Я не слышал из-за шума воды, как она вошла в ванную. Она выросла передо мной неожиданно и так неожиданно заглянула мне в глаза, что поняла, о чем я думал. Вот бывает так: другой человек посмотрит тебе в глаза и все прочтет в них; и она догадалась по моим глазам, что я ее видел с провожатым, но сделала вид, что ничего не поняла.

— Ты голодный? — спросила она, точно это было сейчас самое главное.

— Нет, — ответил я и намылил руки в десятый раз.

Она все еще стояла за моей спиной.

— Мне повезло, получила большую работу на дом. Диссертацию одного молодого ученого. Заработаю деньги и куплю тебе новую лыжную куртку. А то скоро зима.

Видели мы этого молодого ученого. Руки у меня окоче-

нели от воды, ■ я стал их вытирать. По-моему, было что-то унижительное в том, что она будет печатать его работу, а потом купит мне на эти деньги куртку.

— У меня и старая куртка не такая уж плохая, — сказал я.

Она помолчала, потом прижала кончики пальцев к вискам. Это значит, у нее заболела голова. Я увидел, как на левом виске, под ее тоненькими прозрачными пальцами, нетерпеливо билась жилка. У нее даже веснушки на носу побелели.

Мы вернулись в комнату и сели по разным углам. Мы, даже когда ссоримся, все равно сидим в одной комнате. Мама мне говорила, что когда она меня обидит, то моя боль тут же передается ей.

— Гвоздик! — окликнула она меня. Она всегда придумывает мне разные имена, когда у нее хорошее настроение или когда она, наперекор всему, хочет его сделать хорошим. — Гвоздик, может быть, ты все же расскажешь мне, где ты был и почему ты не хочешь есть?

А вдруг он вправду только отдал ей перепечатать свою диссертацию?

— У Кулаковых я был. Это новенькие из нашего класса. Брат и сестра. Иван и Тошка. Они живут в Плотниковом переулке, ■ новом доме.

Она слушала меня и чему-то улыбалась. Не понял я, мне она улыбалась или нет.

— Мы там под руководством Ирины Тимофеевны, это их мать, жарили мясо. Здорово получилось. А отец у них летчик-испытатель, его дома не было, но фотографии я его видел. У Ивана над столом ими вся стена увешана.

Она снова чему-то улыbnулась. Мне даже захотелось оглянуться, потому что выходило, что она улыбалась кому-то, кто стоял позади меня. У меня так бывает. Например, мне иногда кажется, что я войду в свою комнату, а там сидит отец. Вот и сейчас мне захотелось оглянуться, и я бы

оглянулся, но тут хлопнула входная дверь, и в комнату вошел дед.

Он пришел не один, а с шофером такси, и они втащили большой картонный ящик. Я сразу узнал, что это за ящик, но все это было настолько неожиданно, что и надеяться боялся.

Наконец шофер ушел, и дед сказал:

— А что вы на это скажете?

Я подошел, развязал веревку, приоткрыл ящик, увидел полированную стенку телевизора и сказал:

— Порядок.

— «Порядок»! — передразнил меня дед. — Какое куцее слово подыскал для выражения чувства восторга и радости.

Я промолчал, нечего было говорить, когда и так все ясно: телевизор стоит посередине комнаты и это действительно порядок. Наивысший, восхитительный, потрясающий, необыкновенный порядок!

Мама тоже подбежала к ящику, провела рукой по его гладкой, полированной поверхности и сказала:

— Такой дорогой. Спасибо, отец... Теперь мы не будем скучать вечерами. А для Юры это даже полезно: по телевизору все время идут передачи для детей. А то у Рябовых есть телевизор, и у Поповых — у всех его приятелей, так он может в своем развитии отстать от них.

— Ну ладно, ладно, — сказал дед. — Где мы поставим сей предмет?

— Вон, в углу. Пока на пол, — сказала мать. — А потом купим маленький столик. — Она с беспокойством посмотрела на деда, какой-то у нее был виноватый вид. — Я получила на дом работу, перепечатаю, получу деньги, и купим столик. А ты, Юра, немного подождешь с курткой? Ладно?

— Могу подождать, — сказал я. Мне было обидно за мать, чего она так перед дедом... — А вообще-то я могу сделать столик сам, на уроке труда. У нас Роман Иванович любит, когда мы на уроке что-нибудь делаем для дома.

— Знаю я вашу работу. Один обман, — ответил дед. — На твой столик поставь эту вещь, цена которой сто девяносто рублей, а твой столик — хряк! — и нет телевизора.

— Мы делаем крепко, — сказал я. — Роман Иванович говорит, что у нас золотые руки.

— «Золотые руки»! Отойди, пожалуйста, от телевизора. Не ты купил, не тебе ломать.

— А я разве собираюсь ломать? — удивился я.

— Иди, иди, мы вдвоем с матерью все сделаем.

Я повернулся и отошел к окну, пока они там пыхтели около телевизора, вытаскивали его из коробки, ставили в угол и дед проверял лакировку и отделку. «Ну и пусть себе проверяет, — подумал я. — Не знает даже, что проверять». Хотелось оглянуться и посмотреть, что они там колдуют, но я взял себя в руки — не оглянулся. Стоял, смотрел в окно, а сам слушал, что они говорили.

— Что это ты вдруг расщедрился? — спросила мать.

— Кто же вас пожалеет, если не я, — ответил дед.

— Спасибо, отец, — сказала мать.

— Только ты Юрия предупреди, чтобы он не таскал к нам ребят со двора. Обязательно сломают...

— Конечно. После них разве что лишняя работа, — в тон деду поддакнула мать. — Полы все затопчут...

Мать говорила как-то неуверенно, она ведь была совсем другой, и то, что она сейчас говорила, было против ее воли. Она подлаживалась под деда, просто старалась ему угодить, и все из-за какого-то телевизора. Плевать мне тысячу раз на этот телевизор. Ни разу к нему не подойду.

Хуже всего, когда человек только для себя. Мне бы сейчас поговорить с дедом, как надо, а я молчу. Знаю, что дед жадный, несправедливый, а прощаю его и даже иногда похваливаю ребятам. Странно это. Чужих осуждаешь, а своим все прощаешь. А вот Иван Кулаков ни за что бы его не простил.

— Юрий! — крикнул дед. — Подойди помоги.

Я даже не оглянулся.

— Кажется, я попал в немилость,— сказал дед.— Они очень чувствительны.

— Юра, будь справедлив к деду,— сказала мать.— Без него мы просто пропали бы.

Не буду прощать! Не буду, не буду! Хотелось сделать себе больно-больно, ударить себя, чтобы можно было заплакать. Прижался лбом к стеклу и надавил изо всех сил: нос приплюснул, и губы прижал, и стал смотреть в окно напротив, где сидели люди и пили чай. Мирно так пили.

— Эх, молодо-зелено! Ничего, ничего, Галина,— сказал дед.— Я на него не обижаюсь. Вырастет — поймет и меня еще вспомнит добрым словом.

В это время зазвонил телефон, и мама выскочила в коридор. Она о чем-то там долго болтала по телефону, но ничего не было слышно, потому что дед включил свой телевизор и опробовал звук. Он так его опробовал, что от грохота в ушах звенело. А потом вернулась мама. Она была в новом пальто. Узенькое такое пальто из коричневого вельвета. Она его сама шила, а примерку делала на мне.

— Ну как выглядит твоя старушка, Сережка? — спросила она.

Это теперь у нее на целый вечер. То Гвоздик, то Сережка, то Лопушок, то Кешка. Ей нравится, что я на все имена откликаюсь без запинки.

— Неплохо,— сказал я.

Действительно, ей здорово было к лицу это пальтишко. Она была в нем какая-то ненастоящая, какая-то Золушка, какая-то коричневая птичка, и я вдруг подумал, что она это пальто сшила для него. Совершенно ясно, что ей захотелось покрасоваться перед ним, потому что она его шила целых два месяца без всякого интереса, а тут в два дня все закончила.

Она подошла к зеркалу, попудрила нос и сказала:

— Я ненадолго.

Дед и я молча посмотрели на нее. Всем все было ясно, но каждый продолжал играть в кошки-мышки, никто не мог первый сказать правду.

— ■ магазин, — сказала она. — И еще кое-куда.

Она повернулась, чтобы уйти, а я решил ей крикнуть вслед, в ее тоненькую коричневую спину, что знаю, о каком магазине идет речь, — так это меня захлестнуло, так это пахло предательством. Я даже почувствовал запах этого предательства: у него был кислый, незнакомый запах и он сильно ударил мне в нос. Раньше она никогда не покупала духи, говорила, что это дорого.

Мама словно почувствовала мое состояние, остановилась в проеме дверей и оглянулась. И эти ее жалобно-умоляющие глаза и робкая улыбка, за которую она всегда прятала свою нерешительность, ударили меня по сердцу.

И она ушла, и теперь вместо нее в проеме дверей зияла темная пустота передней. А я все смотрел в эту пустоту, надеясь, вдруг мать вернется, снимет пальто и останется дома.

Отец бы, вероятно, за это меня осудил: как же, мол, я берегу мать, если не остановил ее сейчас. И правильно бы осудил...

Я вышел в темноту передней и, не зажигая света, стал одеваться. Дед шмыгнул следом за мной и зажег свет.

— Я ненадолго, — сказал я, подражая матери. — К товарищу и еще кое-куда.

— Не тебе судить мать, — сказал дед. — Мал еще.

Значит, он тоже обо всем догадался. Ну что ж, тогда и объяснять нечего. На всякий случай хлопнул дверью так, что ему и без слов стало ясно, как я к этому отношусь.

Эфэф закрыл толстую потрепанную тетрадь. Видно, он до моего прихода ее читал и я ему помешал. Чем он был хорош, так это тем, что никогда не произносил любимой фразы

взрослых, которые всегда заняты и желают побыстрее отделаться от нашего брата: «С чем пожаловали, дорогой мой или милый мой?» По-моему, эта фраза никак не годится для начала разговора, она сразу отбивает всякую охоту вообще разговаривать. А у Эфэф не так. Раз пожаловали, значит, пожаловали. Значит, надо.

Мы помолчали.

Как всегда, на рубахе у него пуговицы были застегнуты не в те петли, и воротник от этого съехал набок. Нет, он был совсем не то, что наш историк Сергей Яковлевич, который всегда ходил в новеньких, отглаженных костюмах и был «любезным и прекрасным».

Эфэф просто многого не замечал и разговоры обычные вести не умел: там, какая погода, дует ветер или не дует, или еще какую-нибудь ерунду. Вот не умел он болтать.

— Сейчас читал письма отца к маме. Она их в эту тетрадь вклеила, чтобы сохранились. — Эфэф кивнул на тетрадь, что лежала на столе. — И убедился, к своему стыду, что ничего толком не помню. Понимаешь? Ничего... Даже обидно стало. Стоит мне закрыть глаза, и я вспоминаю отца, маму, нашу комнату. Обои у нас были почти белые, и мама разрешала мне на них рисовать. А вот о чем мы говорили в то время, не помню...

Мой отец был инженером-энергетиком и без конца строил где-то электростанции. А мы с мамой жили в Москве и только делали, что ждали его. Помню его три приезда за всю мою жизнь. В первый раз он приехал в гражданском костюме: ему было двадцать пять лет, но мне он показался дедушкой, потому что у него была борода. Перед отъездом он нарисовал на стене, рядом с моими рисунками, кошку с зелеными глазами. Потом, в сорок первом, мы с мамой безгали на Белорусский вокзал, его эшелон шел на фронт через Москву. Он тогда снял со своей шапки-ушанки звездочку и подарил мне.

Он вернулся уже после войны. Однажды утром вошел

в комнату, как будто отсутствовал дня три или четыре. У него были свои ключи, и он открыл ими входную дверь так тихо, что мы не слышали.

С этими ключами целая история приключилась. У нашей соседки украли сумку, и в ней были ключи, ну, она испугалась, как бы нас не обворовали, и купила новый замок. А я его врезал в дверь. Мама пришла с работы, увидела новый замок и заплакала...

Вот сегодня я прочел письмо отца с фронта, ■ котором он написал, что новые ключи от квартиры получил, и понял, почему мама тогда плакала. Она хотела, чтобы у отца там, на фронте, были ключи от нашей квартиры.

И вот он вошел тогда в комнату, снял фуражку, ■ я увидел, что он стал седым. А через несколько дней после возвращения он спорол погоны и снова уехал... Потом погиб, восстанавливая Днепрогэс... Подорвался на немецкой mine.

Эфэф замолчал; я знаю, что делают, когда так молчат. В эти минуты или даже секунды перед человеком вспыхивают, как маленькие костры, видения прошлого. Он сейчас, конечно, видел своего отца, и свою маму, и их комнату с рисунками на стене, этого кота с зелеными глазами.

— Из всех учителей почему-то запомнил одного географа, — снова начал свои воспоминания Эфэф. (Я не стал его перебивать и отвлекать, пусть выговорится, раз ему надо.) — Он всегда нам рассказывал то, чего не было в книгах, в учебниках, и поэтому мы его любили... Товарищей внешне помню, а себя нет. Никогда не видел себя со стороны. Так вот и с тобой будет, я тебя лучше запомню, чем ты сам себя. Ты в моей памяти останешься таким, какой ты сейчас есть: маленький, лохматый, точно тебя кто-то только что сильно обидел и ты после этого долго болтался по переулкам, разговаривая сам с собой... В поисках истины, которую нелегко найти... А сам ты себя таким не будешь помнить. Вот хорошо это или плохо? Как ты думаешь?

— Не знаю,— ответил я.

— По-моему, хорошо,— сказал Эфэф.— Каждый человек должен меньше всего помнить себя и больше других.— Он снова помолчал, потом откинулся на спинку стула и сказал: — Что до матери...

Он подошел к полке, взял какую-то книгу и стал читать слова, будто специально написанные для меня:

— «Что до матери, то, конечно, я заметил и понял ее прежде всех. Мать была для меня совсем особым существом среди всех прочих, нераздельным с моим собственным, я заметил, почувствовал ее, вероятно, тогда же, когда и себя самого... С матерью связана самая горькая любовь всей моей жизни. Всё и все, кого любим мы, есть наша мука,— чего стоит один этот вечный страх потери любимого! А я с младенчества нес великое бремя моей неизменной любви ■ ней,— к той, которая, давши мне жизнь, поразила мою душу именно мукой, поразила тем более, что, в силу любви, из коей состояла вся ее душа, была она и воплощенной печалью: сколько слез видел я ребенком на ее глазах, сколько горестных песен слышал из ее уст!..» Ты что, подружился с Кулаковыми? — вдруг спросил Эфэф.

Сразу было видно, что он разволновался, желает это от меня скрыть и поэтому спросил про Кулаковых.

— Не с Кулаковыми,— уточнил я.— А с Кулаковым.

— Надежный парень?

— Надежный... Еще какой... И семья у них будь здоров: мама врач, а отец летчик-испытатель... На сверхзвуковых...

— Летчик? — перебил меня Эфэф.— А я все думал, на кого это похож Иван Кулаков... Кулаков, вот оно что.

— А вы что, знаете его отца?

— Нет... На фотографиях видел... Один раз в кино... Этот Кулаков — знаменитый летчик... Он разогнал самолет до скорости три тысячи километров в час...

Эфэф рассказывал мне о Кулакове, а сам, видно, думал о своем, и разволновался он здорово от этих воспоминаний.

Я по себе знаю: когда такое привяжется, нелегко отвлечься. У него даже начала чуть-чуть дрожать нижняя губа.

Я как-то спросил, почему у него дрожит губа. А Эфэф мне ответил, что у него это бывает, если он сдерживает улыбку.

Сначала я ему поверил, правда, мне показалось странным, что человек сдерживает улыбку, когда ему хочется улыбаться. Вроде бы ни к чему. А потом понял, что он меня обманул, потому что у него губа иногда начинала дрожать — самое неподходящее время, когда было не до смеха, вот как сейчас. Просто не хотел отвечать на этот вопрос и намекал: мол, не лезь не в свое дело.

Между прочим, я бы и не полез, но у моего отца, когда он волновался, прыгала левая бровь — следствие контузии.

— Федор Федорович, а почему вы сами не пошли в летчики? — спросил я. — Это ведь интереснее, чем возиться с нами.

Эфэф прикусил губу, и теперь нельзя было понять, дрожит она или нет, потом сказал:

— Нет во мне ничего героического... Поэтому не пошел...

Я промолчал. Действительно, героического в нем ничего не было, но уговаривать его в обратном ради вежливости мне не хотелось. Не такой он был человек, не нуждался в этом, и в голосе его совсем не было обиды, что он не герой.

Только сейчас я заметил, что у него к спине привязана электрическая грелка на длинном шнуре. Эфэф увидел, что я смотрю на шнур, и сказал:

— Люблю погреть спину, — снял грелку и небрежным движением бросил на стол.

7

Когда я вернулся домой, дед уже спал, а матери еще не было.

Я сел и стал ее ждать...

Походил по комнате, зачем-то попрыгал на одной ноге, поиграл с лошадкой, как трехлетний пацан, привязал к ее шее нитку и таскал по столу.

Хуже всего ждать и замирать каждый раз, когда где-то внизу хлопает дверца лифта, и надеяться, что лифт остановится на нашем этаже.

Потом покривлялся перед зеркалом.

Потом потушил в комнате свет, и долго смотрел в темный двор, и считал несколько раз до тысячи и один раз до пяти тысяч.

А потом мать наконец пришла, и я, как был, одетый, только скинув ботинки, нырнул под одеяло.

Она осторожно разделась, подошла ко мне, нагнулась, и на меня пахнуло свежим воздухом от ее щек и губ. И я уже хотел закричать ей, что она может идти к нему, раз она без него не может жить! А я как-нибудь проживу и один! Но я не открыл глаза и ничего не закричал, и она, еще немного постояв надо мной, неслышно ступая на носках, прошла в ванную комнату. И оттуда до меня донесся еле уловимый ее смех — ей так было хорошо и весело, что она смеялась наедине с собой.

После этого я каждый день ждал, что она мне все расскажет сама, как бывало раньше, но она молчала. Не могла, вероятно, набраться храбрости, она ведь нерешительная, но с работы теперь она приходила с опозданием и часто исчезала из дому вечерами.

Мне бы надо было ей крикнуть: «Эй, мама, отзовись, расскажи, какая ты, когда одна, днем или ночью в темноте, о чем ты думаешь? Давай посидим вдвоем и все обсудим. Я ведь уже не маленький, и отец мне приказал, чтобы я берег тебя».

Но легко сказать — крикни, а трудно крикнуть, потому что неизвестно, как на твой крик ответят. А вдруг она меня не поймет, и я молчал и думал, что она... «горькая любовь всей моей жизни».

Теперь, прежде чем открыть дверь класса, я всегда думаю ■ том, что увижу за первой партой Кулаковых. Ивана, этого необыкновенного человека, моего лучшего друга, и его прямую противоположность — ехидную сестричку, рыжую бестию Тошку.

Вхожу в класс, а глаза влево, влево, влево. Это у меня рефлекс, даже не хочу косить, а кошу. Я бы мог, конечно, просто подойти к Ивану, и все, но мне нравится, когда он на виду у всего класса окликает меня.

Значит, иду прямо, а глаза влево, влево, влево. Но вот Иван увидел меня и окликнул. А я, когда вижу его, всегда почему-то хочу улыбаться.

— Здорово, — говорю и крепко жму ему руку.

— Привет. — Он тоже крепко жмет мне руку в ответ.

И вдруг эта Тошка, эта рыжая бестия — до сих пор она сидела к нам спиной, — поворачивается и протягивает свою ладошку. У всех на виду! Желает поздороваться. Каково? А сама на меня так нежно и лукаво смотрит и жеманно улыбается. ■ прическа у нее новая: на макушке бантик, а волосы болтаются до плеч. Взял и потряхнул ее ладошку изо всех сил, чуть не вырвал руку, чтобы в следующий раз не лезла. А она захохотала на весь класс и сказала:

— Сократик у нас самый вежливый мальчик во всем классе. Прямо французский мушкетер граф де Ла Фер.

Я даже покраснел от ее слов.

— Хватит дурачиться, — сказал Иван.

Она презрительно оглядела брата, ловко у нее это получилось: сощурила глаза, ногу на ногу закинула, чтобы все видели ее настоящие капроновые чулки, и отвернулась.

— Вообще-то я за мужскую дружбу, — громко сказал я.

— Я тоже за мужскую дружбу, — ответил Иван.

Тошка по-прежнему сидела к нам спиной. А спина у нее худущая: по ней хорошо считать позвонки, как у скеле-

та. Ну, думаю, позвоночная твоя душа, сейчас я тебя доконаю.

— Мужская дружба — это надежно! — сказал я и заметил, что она напряглась, выпрямила спину и позвонки у нее пропали. Самое время было уходить, пока она не бросилась в атаку. Но какой-то отчаянный черт крутнулся во мне, и я добавил: — А на девчонок лично мне наплевать, я на них плюю с самой высокой вершины мира.

И тут она ко мне повернулась и при всеобщем внимании сказала:

Не властны мы в самих себе
И в молодые наши леты
Даем поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Значит, она запомнила эти стихи, когда их прочитал Эфэф, и теперь намекала, что некоторые мальчишки ругают девчонок, а потом сами же пишут им всякие записочки.

Девчонки, конечно, захохотали и захлопали в ладоши. Ах, как остроумно, ах, как ловко и смело!

— Это, может быть, вы «не властны в самих себе», — сказал я и скрестил руки на груди, принял позу нашего любезного историка Сергея Яковлевича. — А мы-то властны.

Дело в том, что все наши девчонки от него без ума, млеют и блеют, как овечки, когда его видят. У них у всех по истории только пятерки. Нет, правда. Вы когда-нибудь слышали о классе, в котором учатся семнадцать девчонок и у всех пятерки по истории? Прямо неповторимое историческое чудо. Такого необыкновенного класса не отыскать во всем Советском Союзе и, может быть, даже во всем мире.

И эта рыженькая штучка тоже уже успела схватить пятерку.

Девчонки начали нервно хохотать и визжать. А Зинка-телепатка сказала, что сейчас она докажет, что это не совсем так, и подошла ко мне.

— Уйди ты, надоело, — сказал я. — Вот привязалась.

— Девочки, — таинственно зашептала Зинка, — он боится.

И действительно, я боялся. Неизвестно, что она могла еще наплести, и самое главное, что девчонки у нас крикливые, они кого хочешь на смех подымут.

— Ребята, ладно, — сказал Иван и нагнулся к нам: — Экстренное заседание пятого звена считаю открытым. Сногшибательная новость. — Мы стояли кружком, как баскетболисты во время перерыва, склонив головы к Ивану. — Если наше звено выйдет на первое место, — продолжал Иван, — то нас всех к Октябрьским праздникам примут в комсомол.

— Вот здорово! — сказал я.

— Здорово, — сказала Тошка совсем уже не жеманным голосом.

— Вырвемся? — спросил Иван.

— Вырвемся, — ответила Ленка.

Когда мы отошли от Ивана, Зина наклонилась ко мне и жалобно сказала:

— Сократик, я сегодня не выучила истории.

Не хватало того, чтобы она схватила двойку.

— Десять минут тебе достаточно? — спросил я.

— Достаточно, — ответила Зинка.

— Можешь на меня положиться, — сказал я.

Действительно, совсем было бы неплохо вырваться на первое место и вступить в комсомол. Может быть, тогда можно будет летом вместе со студентами махнуть на целинну или организовать хор и рвануть на Сахалин и Камчатку — для комсомольцев все дороги открыты. Я читал в какой-то газете про такой молодежный хор. Они выучили несколько песен и поехали на Дальний Восток — их там здорово принимали. Конечно, петь — это не работать, но все-таки...

Прозвенел звонок, и в класс вошел историк Сергей Яковлевич.

Сергей Яковлевич сегодня был как картинка. В новом темно-сером костюме и синем галстуке с какими-то блестящими звездочками. Когда он повернулся ко мне спиной, я увидел, что пиджак у него с двумя длинными разрезами по бокам — писк моды! — и затылок так аккуратно подстрижен, как на фотографиях, которые выставлены в парикмахерских. Вот если бы я был такой!.. Тогда бы мы с Тошкой поговорили!..

— Ребята! — сказал Сергей Яковлевич. — Прежде чем начать урок, я открою вам маленькую тайну... — Он помолчал. — Дело в том, что я пишу диссертацию на тему: «Новые методы ведения уроков». Понимаете, многие наши ученые изучают проблемы, как бы вас учить так, чтобы вы побольше знали... Ну, и я вот тоже решил приложить к этому руку, — скромно закончил свою речь Сергей Яковлевич.

— Сергей Яковлевич, можно вопрос? — спросил я. Надо было выручать Зинку. — Сергей Яковлевич, а как вы относитесь к проблеме обучения во сне?

Историк стоял возле парты Кулаковых, заложив руки в карманы, и издали был очень похож на доктора Зорге. Тошке, видно, он очень нравился, она ела его глазами.

— Это сложная проблема, — сказал Сергей Яковлевич. — В другой раз, Палеолог.

Зинка сделала страшные глаза. Она оглянулась и прошептала:

— Сейчас вызовет меня.

Это уже было опасно. Я снова встал и сказал:

— А все же, Сергей Яковлевич?

— Я же сказал — это в другой раз. — Сергей Яковлевич чуть повысил голос.

Зинка опять сделала круглые глаза: эта несчастная теплятка никак не могла дочитать до конца заданную страницу.

— И еще одно, ребята, — снова начал Сергей Яковлевич. — У нас на уроке будет присутствовать доцент из Ака-

демии педагогических наук — Нина Романовна Байкова. Она контролирует мою диссертацию... Так что я на вас надеюсь...

Зинка в ужасе схватилась за свою телепатическую голову, а Сергей Яковлевич подошел к дверям ■ громко сказал:

— Нина Романовна, пожалуйста!

В дверях появилась — о ужас! — женщина из нашего подъезда. Я ее знал сто тысяч лет, она жила в нашем доме в первом этаже и всегда боялась, что мы выбьем ей окно футбольным мячом, ■ поэтому, высунувшись в окно, часто ругала нас и грозила милицией. Мы все встали, и она оглядела класс; пришлось скорчить рожу, чтобы она не узнала меня.

— Здравствуйте, ребята, — сказала Нина Романовна совсем не своим голосом, не сказала, а пропела. (Ее-то голос уж я знаю отлично.) — Садитесь, садитесь. — Она скромно прошла к последней парте и с трудом, смущенно улыбаясь, втиснулась в парту.

Мы замерли... Урок начался.

Сергей Яковлевич склонился к классному журналу и стал шарить глазами, кого бы вызвать... Видно, он колебался, видно, ему совсем не хотелось ударить лицом в грязь, чтобы подорвать свою диссертацию «Новые методы ведения уроков». Наконец он поднял голову и сказал:

— Сулоева.

Зинка медленно встала, оглянулась на меня и гордо пошла к доске. А я чуть не упал с парты: это же надо, это же телепатия в действии, чтение чужих мыслей на расстоянии! Все-таки я всегда был прав, когда держался от нее подальше: этак она все тайное в одну минуту сделает явным. Ее бы в разведчики, она просто пропадает в школе.

— Сулоева, — сказал Сергей Яковлевич, — расскажи нам про поход Суворова через Альпы... Как всегда, совершенно не обязательно, чтобы ты говорила только по учебнику... Свободно, свободно преподноси материал...

И вдруг Зинка, та самая Зинка, которая только что просила меня выручить ее и говорила, что ничего не знает и умирала от страха, затараторила, как хорошо заряженный автомат: та-та-та! — очередь по представительнице из Академии педагогических наук; та-та-та! — снова очередь.

Она рассказала и про Альпы, и попутно про самые высокие вершины этих расчудесных, распрекрасных гор, и про знаменитых альпинистов, которые штурмовали Монблан, ■ даже сколько этих храбрых альпинистов погибло, ■ про новый тоннель, который пробит сквозь Альпы и на двести пятьдесят километров сократил путь из Франции в Италию... И, конечно, про суворовский поход.

Сергей Яковлевич улыбнулся. Вот что значит свободно преподнести материал, вот она, новая система в действии. И Иван улыбнулся. — наше звено вырвалось на первое место.

Я скосил глаза на представительницу. Она была довольна ответом и тоже улыбалась, на моих глазах впервые в жизни: значит, оценила нашу Зиночку.

А Зинка тем временем, опустив долу очи, как какая-нибудь царевна морская, прошла к своему месту.

— От лица нашего звена, — прошептал Рябов, — объявляю благодарность...

— Чудак, — тихо ответила Зинка. — Я ведь ничегошеньки не знала... Просто прочитала мысли Сергея Яковлевича...

У меня прямо зубы щелкнули от возмущения — ох эти девчонки, любят притворяться! Все выучила, а притворилась. Из меня еще дурачка сделала.

Мне почему-то стало, чуть-чуть скучно. Все-таки обидно, когда ты всем сердцем, а из тебя делают дурачка. Другие не обижаются, когда их разыгрывают, а я обижаюсь. Я и сам поэтому никого не разыгрываю. Говорят, что я юмора не понимаю, но при чем тут юмор, когда идет просто вранье. Не ожидал я этого от Зинки.

Сергей Яковлевич снова стал шарить по списку, но теперь я был спокоен, я знал, что все эти «поиски» — просто

искусный суворовский маневр, военная стратегическая хитрость. Совершенно ясно было, что для закрепления своей полной победы он вызовет зубрилу Рябова. А Сергей Яковлевич продолжал напряженно искать, кого бы вызвать, но вот он поднял глаза...

— Рябов,— прошептал я.

Я тоже был неплохой телепат.

Сергей Яковлевич услышал, что я прошептал фамилию Рябова, но притворился, что не понял.

— Ты что там шепчешь, Палеолог? — строго спросил он.

— Ничего,— ответил я.

— Рябов,— вызвал Сергей Яковлевич.

Рябов бодрым шагом вышел к доске. У него голова была круглая, как ядро от старинных пушек-мортир, какая-то историко-археологическая голова, и лицо у него было круглое, и глаза круглые.

— Скажи мне, Рябов, чем прославил Россию Суворов? — спросил Сергей Яковлевич.

Теперь надо было внимательно слушать, потому что я урок не очень-то хорошо выучил, а эта милая Курочка Ряба всегда шпарит точно по книге, и с его помощью можно слегка укрепить свои позиции.

— Во второй половине восемнадцатого века прославился русский полководец А. В. Суворов,— процитировал Рябов.— Многими своими успехами обязана ему Россия. Он не потерпел ни одного поражения и выиграл все сражения, в которых участвовал. Знамениты его победы во время русско-турецкой войны на реке Рымнике в 1789-м—ему присвоили за них почетное наименование «Рымникский». Он прославился взятием неприступной турецкой крепости Измаил в 1790-м, знаменитым переходом через Альпы во время швейцарского похода в 1799-м и многими другими подвигами...

— Хорошо, хорошо,— перебил его Сергей Яковлевич.— Достаточно... А теперь расскажи нам о Ломоносове...

И Рябов начал, не вздохнув:

— Михаил Васильевич Ломоносов родился в 1711 году в деревне близ города Холмогоры...

Тут я вспомнил фильм «Сережа». Мальчишка, герой этого фильма, ревел, когда родители уезжали в эти самые Холмогоры, а его оставляли на старом месте. Он так жалобно повторял: «Хочу ■ Холмогоры, хочу в Холмогоры...» ■ мальчишка был беленький, симпатичный. Я совсем забыл про Рябова и вспомнил почему-то пацана с нашего двора, который вместо буквы «д» говсрил букву «г». Однажды я его застал в подъезде, когда он дрался с кошкой, и сказал ему: «Нашел с кем драться». А он мне в ответ: «Гля кого кошка, а гля меня тигр».

— Все возбуждало пытлиую любознательность маленького Ломоносова.— Это был снова Рябов.— Северное сияние, льдины, с шумом и грохотом сталкивающиеся между собой, морской прилив и отлив. Мальчик жадно хотел учиться, а учиться было негде.

До чего же этот Рябов трещал, у меня голова закружилась. Он так шпарил по книге, что противно было слушать. Я зевал так, что мог проглотить Сергея Яковлевича, представительницу ■ за компанию Рябова. Вот тогда наступила тишина.

— С большим трудом достал он книги, очень обрадовался,— продолжал Рябов,— когда добыл учебники — грамматику и арифметику, жадно читал их и перечитывал...

До чего же этот великий Михайло Ломоносов был жадный до всего: жадно хотел учиться, жадно читал и перечитывал учебники.

— Достаточно,— сказал Сергей Яковлевич.

Потом он галантно повернулся к представительнице и спросил:

— Нина Романовна, может быть, у вас будет какой-нибудь вопрос к Рябову?

Нина Романовна задумалась, а мы все уставились на нее: неужели она будет так жестока?

— Скажите мне, Рябов, — у нее был такой милый голос, просто нежнейший тоненький голосок, — когда был основан город Петербург, нынешний Ленинград?

— Только свободнее, свободнее, Рябов, — попросил Сергей Яковлевич.

И вот тут-то Рябов дал на полную железку:

— На Заячьем острове, близ правого берега Невы, в мае 1703 года заложили по чертежу Петра I Петропавловскую крепость. Около этой крепости на болотистых берегах Невы Петр решил основать новую столицу государства.

И думал он: —

вдруг завыл Рябов стихами, —

Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.

Так писал Пушкин об основании Петербурга в своей поэме «Медный всадник». Новая столица была основана в 1703 году и названа городом Петра — Петербургом. Позже она стала называться Санкт-Петербургом или просто Петербургом. «Санкт» — означает святой. Точный перевод названия «Санкт-Петербург» — святой Петра город.

— Отлично, Рябов, — сказал Сергей Яковлевич. — У вас будут еще вопросы, Нина Романовна? Нет? Садись, Рябов.

Когда же Рябов бодрым солдатским шагом прошел к своему месту, началось самое главное. Сергей Яковлевич стал возбужденно ходить по классу, поворачиваясь то к одному, то к другому ученику, и быстро говорил:

— Смирнова, детальку про Суворова?

— Суворов очень любил простую солдатскую пищу, — сказала Смирнова. — Особенно гречневую кашу...

— Кулакова?

— «Где проходит огонь, там пройдет и солдат». — Она, по-моему, улыбнулась Сергею Яковлевичу. Эти девчонки из-за него готовы были идти на эшафот.

— Матвеева?..
— «Русак не трусак!»
— Коршунов?
— «Вы — орлы, вы — чудо-богатыри!» — так любил говорить солдатам Суворов.

Ребята рвались отвечать, каждому хотелось легко и просто отличиться, каждому охота была покрасоваться, сказал три или четыре слова — и сразу в умниках... А Сергей Яковлевич улыбался, урок проходил на славу... Он был как ловкий кукольник: дернет за веревочку, кукла вскакивает и говорит именно то, что надо кукольнику...

■ тут он тыкнул ■ меня, и я вскочил, и все стали смотреть мне в рот, и эта представительница. А у меня в голове вдруг неизвестно откуда стала вертеться фраза: «Ненавистница футбола». Я даже испугался, что она у меня сама по себе выскочит и обидит ее, потому что, может быть, если бы под моими окнами каждый день играли в футбол, так я бы тоже таким голосом заговорил, как громкоговоритель, или завыл бы сиреной, как «скорая помощь»...

— Ну? — Сергей Яковлевич посмотрел на меня жалобными глазами: мол, не подведи, эксперимент погубишь.

Я хотел сказать, что не могу так, что мне надо подумать, но в этот момент я вспомнил поговорку, вроде бы суворовскую: «Смелого штык не берет, смелого пуля боится»; я уже приготовился ею выстрелить в историка, только мне показались эти слова до обидного несправедливыми. Сколько храбрых людей погибло, а здесь вдруг такая поговорка. И Суворов, конечно, ее никогда не придумывал...

— Суворов... — сказал я. — Суворов... — В голове завертелось, и я напрочь забыл все про Суворова; если бы меня сейчас спросили, кто такой Суворов, то я бы вообще ничего не ответил или сказал бы какую-нибудь чушь. И тут я вспомнил такую картинку: в большой железной клетке везут человека — это Пугачев... А рядом гарцует на коне офицер — это Суворов, и я сказал: — Суворов привез в железной

клетке Пугачева.— Потом мне этого показалось мало, и я добавил: — Чтобы казнить его на Лобном месте ■ Москве...

В классе наступила мертвая тишина, будто я сказал что-то ужасное, будто я оклеветал великого полководца и все теперь не знают, как им поступить со мной.

Первым нашелся Сергей Яковлевич.

— Так,— сказал он.— Этот случай был в жизни Суворова... Мрачный случай... Он потом переживал его всю жизнь... История наша не любит фальсификаций... Суворов тогда был молод, неопытен... Так. Ну, а что ты еще знаешь о Суворове? О полководце Суворове, народном герое, гордости русского народа?..

Я промолчал. Не хотелось почему-то ничего говорить, язык перестал ворочаться, и я забыл все буквы и разучился складывать их в слова.

— О походе через Альпы?

.....

— О взятии Измаила?

.....

— О взятии Константинополя?

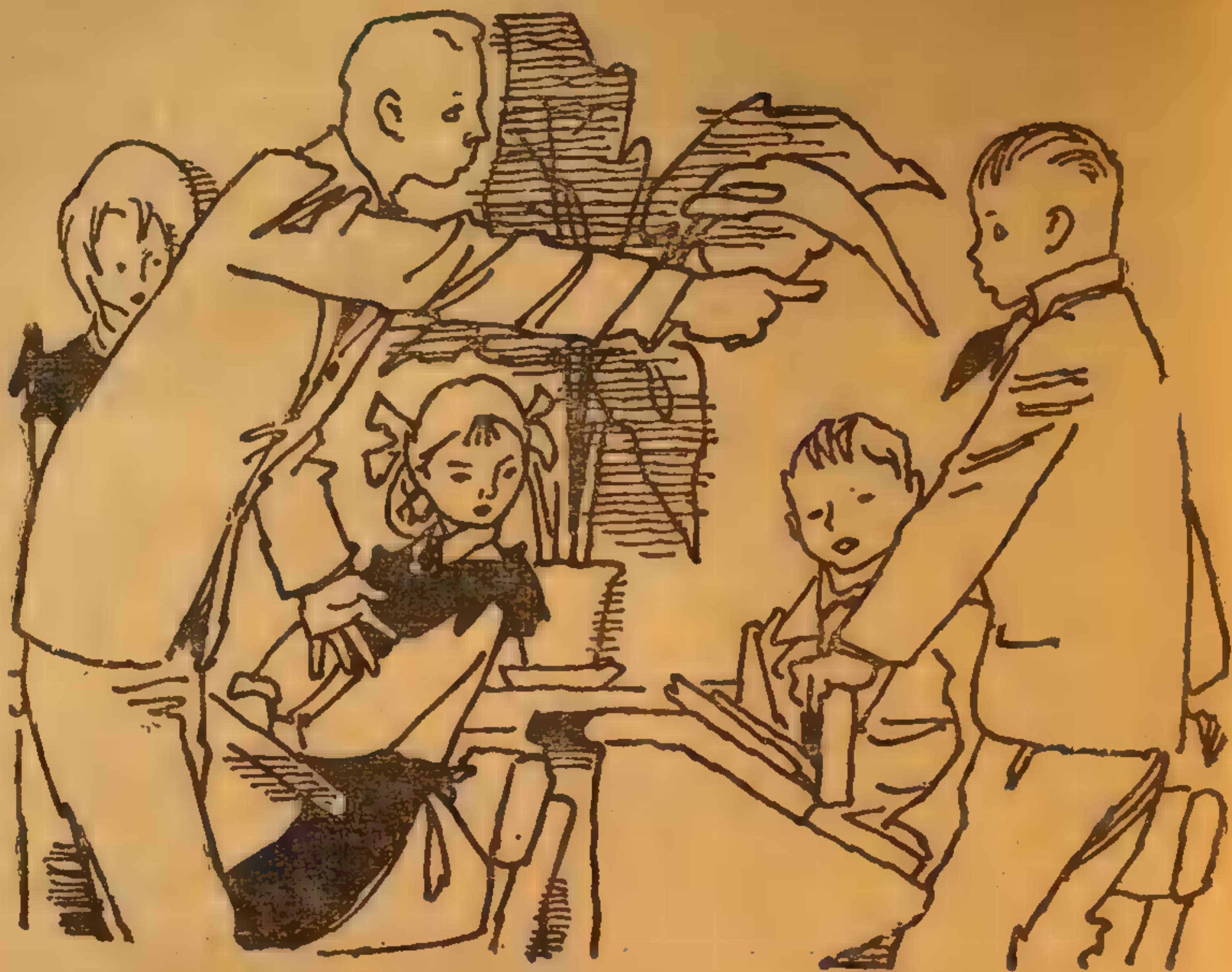
.....

— Я вынужден буду тебе поставить двойку,— сказал Сергей Яковлевич, четким шагом подошел к учительскому столу и вклеил мне двойку.

Наше звено благодаря мне шарахнулось на последнее место. Я покосился на представительницу, она что-то писала в толстую тетрадь. Потом подняла глаза, ■ наши взгляды встретились.

По-моему, она меня узнала, потому что на секунду превратилась в «ненавистницу футбола». А когда проходила мимо меня, даже укоризненно покачала головой. Определенно узнала. Теперь разнесет по всему двору. Но это все было ерундой по сравнению с тем, что случилось дальше...

Не успела захлопнуться дверь за Сергеем Яковлевичем



и его спутницей, как Иван подскочил ко мне и, еле сдерживаясь, почти закричал:

— Ну, что ты скажешь в свое оправдание?

— Иван, ты потише можешь? — попросил я. — Я тебе потом все объясню.

— Ах, какой нежный, он боится огласки! — снова в полный голос сказал Иван. — Размазня... Всех подвел.

Глаза у него стали какие-то чужие и даже потеряли свой цвет. Обычно они у него, как у Тошки, синие, а тут как-то побелели.

— Брось, Иван, — сказал я. — Я... я... завтра исправлю двойку, — и захохотал, решил превратить все в шутку. — Ты не знаешь самого главного... Эта представительница из академии, Нина Романовна, из нашего дома... Страшная женщина, она все время нас гоняет, потому что мы под ее окнами играем в футбол. Ну, я как увидел ее, испугался,

решил, сейчас она на мне отыграется за футбол, и сразу все из головы выскочило. Ты не знаешь этой женщины... — Хотел прямо до слез, а он смотрел на меня по-прежнему чужими глазами и совсем не смеялся.

— Слушай, малютка Сократик, ты просто дурачок, — сказал Иван.

Честно, этого я не ожидал. Зачем он так унижает меня? Подошел бы и высказался потихоньку, а то орет на весь класс. Он бы еще на всю школу заорал. А тем временем наши столпились вокруг, и даже кое-кто из чужих. В первых рядах, конечно, торчала шарообразная голова вездесущего Рябова. Все уставились на меня, и те, кто собирался выйти в коридор, повернули оглобли обратно. Интересно, неразлучные друзья, и вдруг крики и драка.

— И не подумаю исправлять, — сказал я.

И все-все смотрели на меня. Тошка, та прямо развернулась в мою сторону. Против ее Ивана, ах, ах, ах!

— Нет, вы слышите? — возмутился Иван. — Ничего, мы тебя проучим...

— Но ведь я правду сказал про Суворова, а он придрался, — сказал я.

— Ну и что? — ответил Иван. — Кто тебя за язык тянул при посторонних?

— Выходит, на правде далеко не уедешь, — сказал я. — Выходит, для своих одна правда, а для посторонних другая?

— Еще один воспитатель на мою бедную голову... Ребята, видали вы этого правдолюбца-двоечника? — Иван засмеялся своей остроте. — Вот мы вышибем тебя из звена, тогда поплачешь.

— Точно, — подхватил Рябов. — Правдолюбец-двоечник. Типичный ты, братец, Хлестаков. Без царя в голове и одет по последней моде.

Все, конечно, стали хохотать. А Иван, вместо того чтобы одернуть Рябова, тоже засмеялся.

После уроков я первым выскочил во двор, чтобы перехватить Ивана и объясниться с ним с глазу на глаз.

За двойку — пожалуйста, казните меня, но не за правду.

Сел на скамейку и стал ждать. Небрежно так постукивал рукой по спинке скамейки, изображая полное безразличие, хотя от напряжения внутри все дрожало.

Другие скажут, из-за какой-то ерунды волноваться в наше время, но для меня это не легко и не просто. Из-за чего же тогда надо волноваться в наше время, если не из-за этого?! Это же самый принципиальный вопрос.

Я ему докажу свою правоту. Я уже кое-какие слова придумал: когда заранее придумаешь, всегда надежнее.

«Выходит, ты считаешь, что победу можно завоевывать любыми средствами?» — спрошу я его.

Он ответит, конечно, утвердительно.

«Выходит, победителей не судят, Ванечка?»

«Ну, предположим», — ответит он.

«А ты знаешь, дорогой друг, кто так поступает?»

«Интересно, кто же?» — наивно переспросит он.

Он любит прикидываться наивным, это у них с Тошкой общее. Вообще чувствуется, что она на него плохо влияет.

«Фашисты!» Если я захочу, я умею убить фактом.

Наконец толпа ребят схлынула. Прошли все наши: и Рябов, и Зинка, и Тошка, а потом только появился Иван. Но он был не один. К нему пристала Ленка Попова. Я помахал ему рукой, но он скользнул глазами мимо меня и прошел, и что-то рассказывает ей, рассказывает... А она идет с ним рядом, размахивая своей новенькой синей сумкой на длинном ремне. Видно, считает, что очень у нее это красиво получается.

Я подумал, что Иван меня не заметил, и крикнул:
— Эй, Иван!

Он не оглянулся, а Ленка оглянулась, не выдержала,

что-то сказала ему, ■
они пошли дальше.

Я пошел за ними.
Надо было все же погово-
рить с Иваном.

■ тут меня нагнал
Эфэф. На улице он сов-
сем не такой, как в
классе. В классе он
громкий и уверенный, а
на улице превращается в
обыкновенного человека
небольшого роста, ху-
денького. И пальто у не-
го старое, вроде моего, и
кепка со сломанным ко-
зырьком.

Он, конечно, велико-
лепно видел, кто шел
впереди нас, видел эту
стриженую Ленку По-
пову, с ее распрекрасной
синей сумкой, и Ивана
Кулакова, который всеми
силами старался ее раз-
веселить, а иначе почему
он так размахивал ру-
ками и так увлекся раз-
говором, что столкнулся
с прохожим. Значит, за-
был обо всем на свете.
А сам говорил: «Я твой
лучший друг. Я за муж-
скую дружбу».

Ничего не скажешь,



здорово получилось. Только на днях я расписывал Эфэф, какая у нас надежная дружба с Иваном, а сегодня он видит эту любопытную картинку.

— Что ты такой печальный? — спросил Эфэф.

— Я? Наоборот, я веселый.

— Незаметно.

— А у меня внутренний смех.

— Внутренний смех всегда печальный, — сказал Эфэф. — Это я по себе знаю. Если меня кто-нибудь обидит, то я, чтобы заглушить эту обиду, смеюсь над собой.

— И помогает? — спросил я.

— Нет. Не помогает, — сказал он и вдруг добавил: — А женщины... женщины, так же, впрочем, как и мужчины, бывают иногда очень плохими: трусливыми, подлыми, плохими товарищами, но чаще, почти всегда, бывают прекрасными. Нежными, умными, преданными.

Он замолчал. Мне показалось, что он не просто так замолчал, а от собственных слов, что-то вспомнил. Какую-нибудь прекрасную, нежную, умную и преданную. Я внимательно посмотрел на него. Он смутился ■ как-то необычно улыбнулся уголками губ и глазами. Ясно, что я отгадал.

— А что ты скажешь о женах декабристов? — торопливо спросил Эфэф.

Нечего сказать, сравнил: жена, например, декабриста Трубецкого, которая пошла за мужем на каторгу, — и вдруг Ленка Попова.

Что-то старик не туда заехал. Ленка Попова, стриженная штучка с модной сумочкой, фик-фок на один бок, актрисуля для первоклашек: «Зайка серенький, зайка беленький пошел прогуляться в лесочек», — и Трубецкая?!

— При чем тут жены декабристов? — возмутился я.

— А при том, — ответил Эфэф. — Ты подумай и сам догадаешься при чем...

Была у него такая привычка — сказать что-нибудь непонятное, поставить человека в тупик и замолчать.

Это он меня воспитывал: очень он любил заставлять нас думать.

А Ивану ■ горя мало. Идет себе, болтает о чем попало с Ленкой. Нет, я ни за что не буду думать и не поддамся воспитанию. Не хочу, и все. Не буду Ленку Попову сравнивать с женой Трубецкого.

Ох, до чего тошно стало! Сразу вспомнилось все самое плохое. Вспомнил, как дед вчера опять весь вечер повторял про свою доброту и про нашу бестолковость ■ грозился нам с матерью показать, как надо жить. Мне даже хотелось подойти ■ треснуть по его телевизору, так он мне надоел со своей добротой.

Мы шли молча по переулку, а Иван и эта княгиня Трубецкая маячили впереди нас. Я покосился на Эфэф — если посмотреть на него с правой стороны, то около уха у него виден шрам — и приготовился убить его фактом. Он сам любит повторять, что «в оценке объективной истины факты — вещь положительная».

Значит, я решил убить его фактом, чтобы он не сравнивал больше наших девчонок с женами декабристов. Решил привести пример с Зинкой, с ее поведением на уроке истории. Я уже открыл рот, чтобы преподнести ему эту современную историю о коварстве, но около нас резко затормозила машина, и шофер, толстый лысый дядя в кожаной куртке, как сумасшедший, чуть не сбив меня с ног, налетел на Эфэф.

— Федька! — кричал он, обнимая Эфэф. — Федька Долгоносик! — И прибавил ласково: — Милый мой Федька Долгоносик... На ногах... — Почти после каждого слова он ударял его по плечу, словно проверял на прочность. — Рад тебя видеть... Сколько же ты пролежал? — И снова ласково прибавил: — Милый мой...

— Три года, — ответил Эфэф каким-то странным голосом, и нижняя губа у него стала еле заметно дрожать.

Если бы я не знал его, как себя, то решил бы, что он готов расплакаться, так разволновался от этой встречи.

— А я, признаться, думал, что ты после этой аварии не оправишься, — сказал шофер.

Это было что-то новое из биографии Эфэф. Оказывается, он раньше был шофером и попал в аварию. Мне поэтому хотелось услышать продолжение их разговора, но тут я увидел, что Иван прошел мимо своего дома и свернул в Ленкин переулок.

— Федор Федорович, до свидания, — сказал я и, не дождавшись ответа, побежал догонять Ивана.

Я сразу забыл и про шофера и про Эфэф.

Интересно было, чем это все кончится? Может быть, она позовет его в гости на чашку чая?!

Я влетел в Ленкин переулок, ■ теперь они, милые голубки, сизокрылый голубь Иван и пестрокрылая голубка Елена, прыгали у меня перед глазами. Он шел степенно, все же хватало выдержки. А она, от радости что ли, крутила свою сумку, как крутит свой молот перед броском олимпийский чемпион Ромуальд Клим. Честное слово, она отнимет у него рекорд.

Эх, Иван, Иван... Такого пустяка не можешь простить товарищу. Да если ты только пожелаешь, я завтра же получу по истории пятерку. Просто стану биографом Суворова и в лучшем виде опишу все его подвиги во славу родины. А если хочешь, я извинюсь перед Сергеем Яковлевичем и буду до конца моих школьных дней лучшим его учеником. Лучше, чем эти влюбленные визжалки.

В конце концов, я не возражаю против Ленки. Она совсем неплохой человек, и я ее знаю уже семь лет. Она даже как-то со мной и с моим отцом ходила в Зоопарк и потеряла там свои варежки, и руки у нее от холода стали красными-красными. Тогда я ей отдал свои, хотя без варежек мне было холодно. Честно, отдал. А на большом пальце в моих

варежках была дырка, и она все время высовывала в эту дырку палец, ■ мы хохотали.

Потом я заболел скарлатиной, и Ленка каждый день приходила ■ нашим дверям и что-нибудь оставляла для меня. Оставила машину «ЗИЛ-110». Привязала к дверной ручке. Потом лото. А потом принесла две книги: сказки Андерсена и «Голубую чашку» Гайдара.

Хорошие были книги, жалко их было сжигать, когда я поправился. Но отец сказал, что это необходимо, а то придут ко мне ребята в гости, возьмут эти книги в руки и заболеют. Когда книги факелом пылали в тазу, я все думал про людей, что жили в этих книгах. Они были для меня как живые, эти люди, горящие на костре...

Когда я вышел на Арбат и проходил мимо трикотажного магазина, оттуда выскочила продавщица, та самая скандалистка, с башней на голове, и почти протаранила меня, но даже не подумала извиниться. Только на секунду я увидел ее глаза, по-моему, она плакала. Интересно, почему?

Я прошел мимо своих ворот и поплелся дальше по Арбату. Может быть, она кого-нибудь незаслуженно обидела, как меня, а он ее отругал, и теперь она рыдала. Так ей и надо, пусть других не оскорбляет.

Она шла, низко опустив голову, и я прибавил шаг, чтобы догнать ее. Хотелось посмотреть, чем кончится это представление.

Вижу, один мужчина на нее оглянулся, потом какая-то сердобольная женщина. Значит, думаю, она еще рыдает.

Она свернула в подъезд дома около магазина «Военная книга», и я заглянул в него: она стояла около телефона-автомата и смотрелась в зеркальце.

— Вы звонить? — спросил я.

Она оглянулась, щеки у нее были в темных ручейках от слез: потекла краска с подкрашенных ресниц, и теперь она платком терла щеки. Она ничего не ответила и отошла в сторону. Непонятно было, узнала она меня или нет. Для види-

мости снял трубку, повернулся к ней спиной и стал крутить диск.

Тем временем эта плакса-вакса оттерла щеки и вышла из подъезда. Я следом за ней. Догнал ее и пошел рядом. Пусть знает, что она не одна.

Идем рядом, почти нога в ногу. Она в легоньких домашних тапочках — видно, так поспешно выскочила из магазина, что забыла переодеть туфли.

— Вы меня узнали? — спросил я. — У нас был с вами такой приятный разговорчик... — Надо было ее как-то рассмешить.

— Отстань, — сказала она и прибавила шаг.

«Значит, узнала», — подумал я и снова догнал ее.

— А вы знаете, зачем я хожу в ваш магазин?

Она не слушала меня, вытаскивала платочек из кармана и вытерла свой отсыревший нос.

Я еле успевал за ней, это был какой-то кросс, точно мы ставили рекорд в спортивной ходьбе по пересеченной местности.

— В вашем доме когда-то жил А. С. Пушкин, — чтобы втянуть ее в разговор, сказал я. — Слыхали про такого?

Она промолчала.

— Ну вот я и придумал, что именно в вашем магазине была его комната...

Она снова промолчала, мрачная была. Вероятно, разочаровалась в жизни.

— Я вчера двойку получил по истории и из-за этого поругался с другом. У нас там соревнование, а я всех подвел...

По-моему, я ей здорово надоел, вечно я лезу в чужие дела. Пора было уходить.

Мы как раз дошли до тоннеля, который идет от гостиницы «Националь» к Музею В. И. Ленина, и я остановился. Она стала спускаться в тоннель, прошла один лестничный пролет, оглянулась и замедлила шаг, точно поджидала

меня... Я в одну секунду подскочил к ней, значит, не зря я так долго за ней шел, и мы спустились в тоннель.

А этот тоннель длиннющий, самый длинный в Москве: идешь, идешь и никак не дойдешь до конца. Там, в этом тоннеле, и цветы продают, и газеты, и какой-то старикашка пристроился с лотерейными билетами и кричал, зазывая покупателей, обещая крупный выигрыш.

И вдруг в тоннеле погас свет и стало темно-темно, и все люди начали громко разговаривать, окликая друг друга. И я тут же ее потерял, мою попутчицу. Хотел крикнуть, но я ведь даже не знал ее имени. Кто-то завыл, конечно, нарочно, а старикашка продавец завопил, чтобы никто не смел брать лотерейные билеты...

Я подумал, что, может быть, на самом деле его грабят, решил подойти поближе, зацепился за чью-то ногу ■ упал.

Конечно, когда зажгли свет, ее уже не было. ■ так легко потеряться, а тут еще тоннелей понастроили...

Домой я возвращался тоже пешком — в кармане не оказалось ни одной монеты.

10

Я бесшумно открыл дверь, чтобы войти в нашу квартиру, и сразу услышал чужой голос, который довольно громко рассказывал маме какую-то смешную историю. Он, можно сказать, не рассказывал, а декламировал, как диктор телевидения, и мама хохотала: значит, он все же добрался до нас.

Потом я увидел на вешалке его пальто. Я хлопнул дверью посильнее, и смех сразу оборвался, словно эта дверь прищемила ему язык.

Ко мне навстречу вылетела мама. Она была в летнем голубом платье, видно, считала его самым нарядным, хотя оно было не по сезону.

— А, наконец-то, — сказала мама. — Явление второе: те же и Сократик.

Она зачем-то стала стягивать с меня пальто, точно я сам разучился это делать, потом схватила за руку и хотела тут же втащить в комнату, чтобы представить этому великому герцогу. Но я вырвался и пошел мыть руки. Одним ухом при этом я прислушивался к словам, которые доносились из комнаты. Они там продолжали хихикать, правда, не так громко.

Всему миру было понятно, хотя мама ■ сказала мне: «А, наконец-то», что в этой комнате смеха третий был лишний. Но я вытер руки и пошел в комнату. Еще неизвестно, кто лишний, может быть, этим третьим окажусь не я, а кое-кто другой...

Он сидел на диване, положив ногу на ногу. Волосы у него были седые, хотя лицо не старое, а нос широкий, придавленный, без переносицы, как у боксера. В общем, он был не красавец, и непонятно было, почему мать влюбилась в него. При моем появлении он вскочил и вытянулся, как солдат перед генералом, по струнке, и протянул мне руку.

— Меня зовут Геннадий Павлович, — отдельно сказал он.

Так обычно разговаривают с маленькими: «А вот это, малыш, кошка. Осторожнее, она царапается».

Я промолчал, решил, что ему моя биография известна уже во всех подробностях. Как меня зовут, когда я родился, когда произнес первое слово и какой я был хорошенький в младенческом возрасте. Так что не к чему распространяться.

— Есть хочешь? — спросила мама.

От волнения она даже заикнулась.

— Нет, — гордо ответил я и прошел к своему столу,

сел к ним спиной и стал медленно вытаскивать из ящика стола учебники, хотя уроки совсем не хотелось делать. Достал физику и бросил ее с лету на стол, она треснулась,

но не очень. Тогда я достал литературу, поднял ее повыше и шмякнул об стол; она потолще физики и треснулась по-сильнее.

За моей спиной наступила тишина. Можно было подумать, что они разговаривают по азбуке глухонемых, заранее изучили эту азбуку, чтобы специально разговаривать за моей спиной.

— Сократик, — услышал я наконец голос матери, он донесся до меня откуда-то с другого конца земли, — мы тебе не будем мешать, если Геннадий Павлович мне немного продиктует?

— Пожалуйста, — сказал я и шлепнул по столу самым тяжелым учебником — зоологией. Это уже был настоящий взрыв.

Он что-то потихоньку начал читать ей про коров и про удои, про жирность молока и про телят...

Я встал и пошел к телефону, чтобы они не подумали, что мне очень интересны их разговоры. Решил позвонить Ивану, но к телефону подошел какой-то мужчина, видно, сам знаменитый летчик, и пришлось повесить трубку. Тогда я позвонил Ленке Поповой — может быть, она мне скажет что-нибудь об Иване. А может быть, она даже проговорится, что Иван переживал ссору со мной.

Она сама подлетела к телефону и сказала взрослым голосом:

— Да, говорите.

Если бы я ее не знал, эту стриженую штучку, то подумал бы, что ей лет двадцать.

— Привет, — сказал я. — Это я.

— Ты? — Она замолчала, я не хотел ее обманывать, но сразу понял: она приняла меня за Ивана, потому что на всей земле только он один для нее и существовал.

— Я, — ответил я. — Представляешь, мне уже звонил этот балбес Сократик.

Она помолчала, потом сказала:

— Знаешь что, ты из меня дурочку не сделаешь. Я тебя сразу узнала. Нечего меня разыгрывать.

— А я и не думал разыгрывать, — сказал я. — Ну, что там Иван говорил про меня?

— Что ты у меня спрашиваешь? — сказала она. — У него и спроси.

Ах, какая она гордая, уже задается!

В это время я услышал, что мамина машинка перестала стучать, и сказал нарочно громко, почти закричал в трубку:

— Ленка, а ты не знаешь, как по-латыни будет «корова»?

— Чего, чего? — не поняла Ленка. — Ты что, совсем-совсем?..

Не попрощавшись, я повесил трубку, вернулся в комнату и стал ждать, когда он уйдет. По-моему, я довольно ясно высказался, когда спросил у Ленки про корову. Но он сидел, как у себя дома, и не думал уходить.

Мне захотелось есть. Только признаться в этом я боялся, а то еще мама, чего доброго, и его пригласит, и будет у нас такой милый семейный чай, разговоры про погоду, про то, как я учусь, и про то, что наше сельское хозяйство по-прежнему отстает, так сказать, разговор по специальности.

Я посмотрел на учебники, которые валялись на столе, и мне очень захотелось снова поднять их и с треском бросить на стол. Но я все же утерпел: жалко было мать. Чтобы как-то успокоиться, стал перебирать марки. Потом полез в стол и натолкнулся на альбом с фотографиями. Достал его и стал листать.

На первой странице этого альбома фотографии папы и мамы. Папа совсем молодой, на петлицах у него два кубика, два квадратика, эти петлицы и кубики носили еще до войны. А мама на фотографии еще девочка, лет восьми. Под фотографиями рукой отца написано: «1941 год». У нас фотографии в альбоме все по годам разложены. Потом я стал

листать дальше и увидел маму постарше и совсем еще не старого деда. Под фотографией стояло: «1943 год».

А потом я увидел ту знаменитую фотографию отца, где он стоит у подбитого фашистского танка. Он улыбается—видно, доволен, но лицо усталое, и глаза усталые, ■ он небритый. И тут я понял, как мне его не хватает.

Я вытащил фотографию из альбома и кнопками прикрепил к стене, над столом. Пусть висит, пусть я буду его видеть каждый день. И мать пусть его видит. Может быть, тогда она поймет, что поступает как предатель.

Я почувствовал, что этот стоит позади меня. Я так увлекся, что не слышал, как он подошел ко мне. Хотел, видно, что-то сказать, наладить со мной контакт, но натолкнулся глазами на фотографию отца и проглотил язык. Он долго-долго смотрел на фотографию, а потом сказал:

— «Тигр».



Я промолчал, нечего было мне с ним пускаться в разговоры.

— Немецкий танк марки «тигр», — сказал он.

Я снова промолчал.

Тогда он наконец понял, что он здесь лишний, попрощался со мной и матерью и ушел. Мы остались одни. Мать включила телевизор, как будто это было сейчас самое нужное. По телевизору показывали мультфильм для маленьких: «Как котенку построили дом».

— Ты что, не хочешь, чтобы Геннадий Павлович к нам приходил? — спросила мама.

Она повернулась ко мне лицом, загородив телевизор, и из-за ее спины кто-то противно мяукал котенком. Настоящий котенок в жизни не будет так орать. Она ждала, что я ей отвечу. Но я промолчал, потому что это и так было понятно.

— Нет, ты ответь мне: почему?

В это время в дверь позвонили. Я открыл. Передо мной стояла Зинка Сулоева. Она ■ раньше ко мне приходила, я уже привык к этому, и я к ней иногда заходил, но сейчас я ее совсем не ожидал.

— Добрый вечер, Сократик. (До чего она была вежлива, уму непостижимо.) Можно мне войти? — спросила она.

Я все еще стоял в дверях, загораживая Зинке дорогу. Все еще думал о матери и не совсем понимал, что делал.

— Входи, — сказал я.

Когда она снимала пальто, мимо нас проскочила мама. Зинка даже не успела с ней как следует поздороваться. Закричала свое «здравствуйте» ей в спину и удивленно, изучающе посмотрела на меня.

— Чрезвычайный и полномочный посланник! — крикнул я почему-то. — Из компании Кулаковых и прочих рекордсменов.

— Ничего подобного, — ответила она. — Я пришла по собственной инициативе.

— Чрезвычайный и полномочный инициатор! — крикнул я.

Я только и делал, что выживал сегодня всех из дома: сначала Геннадия Павловича, теперь Зинку. Даже самому стало противно и захотелось рассказать Зинке ■ про Ивана, ■ про мать, чтобы не надо было притворяться перед ней, что у меня все просто ■ замечательно.

— Хватит тебе строить из себя дурачка, — сказала Зинка. — Нам надо выходить на первое место.

— Чрезвычайный и полномочный первоместник! — крикнул я.

— Что с тобой? — спросила Зинка и вышколенным телепатическим движением взяла меня за руку.

— Чрезвычайный и полномочный телепат! — крикнул я.

— Ты что, хочешь, чтобы я ушла? — спросила Зинка.

— Понимаешь, — сказал я, — у меня плохое настроение... Двойка, и так далее... Конец света...

— Испуган — наполовину побежден, — сказала Зинка. — Это суворовская заповедь. Тебе полезно ее запомнить.

— Хорошо, запомню, — сказал я.

А потом я успокоился, и мы целый час учили историю, и я так ее выучил, что знал про Суворова решительно все. Нарочно вызубрил самую трудную из его поговорок: «Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, опрятность, смелость, бодрость, храбрость, победа, слава, солдаты, слава!»

Правда, что такое субординация и экзерциция, ■ не знал, но зато я эту поговорку произносил залпом, на одном дыхании, как настоящая заводная Курочка Ряба.

Пока мы учили историю, мать несколько раз входила в комнату, и я чувствовал, что она приготовила речь в защиту Геннадия Павловича и только ждет, когда уйдет Зинка.

Но я нарочно пошел провожать Зинку, чтобы не разговаривать с матерью. Всю дорогу Зинка вела себя как-то странно: она шла рядом со мной и величественно молчала,

Потом она попросила меня, чтобы я понес ее портфельчик. Я взял портфельчик, с портфельчиком лучше, — когда размахиваешь им на ходу, делается веселее.

— Вот у тебя так бывает, — сказала Зинка, — кругом люди, люди, а тебе все равно, а потом появляется один человек... и тебе не все равно?

— Не знаю, — ответил я.

— А у меня бывает, — сказала она. — Вообще я к одним людям равнодушна, а к другим... наоборот... К тебе, например...

— Нечего сказать, наоборот... — возмутился я. — Сегодня на уроке истории меня разыграла.

— Просто я проверяла, как ты ко мне относишься, — сказала Зинка. — Готов ли ты на жертвы... ради других...

Она была какая-то странная, заикалась, не договаривала слов.

— Зачем это тебе? — спросил я.

— Ничего ты не понимаешь, — сказала Зинка. — Ты страшный человек. — Она выхватила у меня портфель и убежала.

А я побрел домой, медленно, чтобы не прийти раньше деда. При нем мама не станет разговаривать о Геннадии Павловиче.

Когда я ждал лифта, то из своих дверей вышла представительница Нина Романовна. Видно, она шла в магазин, потому что чей-то цыплячий голос крикнул из-за двери: «Мамочка, купи мне мороженое за двадцать восемь копеек!» Мне совсем не хотелось с ней встречаться, но лифт, как назло, кто-то задержал. Повернулся к ней ■ вежливо сказал:

— Здравствуйте!

— А, это ты, герой. Добрый вечер! — Она остановилась. — Ну, что же ты думаешь делать дальше?

— Ничего, — ответил я. Лифт освободился, и я нажал кнопку вызова.

— Ничего? — переспросила она и попробовала прикрыть свою дверь, но я увидел, как оттуда высунулся нос облу-
женного ботинка. — Казя, пусти дверь, ты простудишься.

Казя отпустила дверь, потом незаметно снова открыла ее. Я эту Казю хорошо знаю, она все время гоняет по двору на трехколесном велосипеде.

— Так ты говоришь: «ничего»? Ты заметил, что вы, ребята, очень любите говорить: «не знаю», «ничего», «за меня не беспокойся» и так далее. На самом деле вы все прекрасно знаете, за вашим «ничего» кроется элементарное упрямство, и с вами все время что-нибудь случается.

Совершенно было ясно, что она никуда не спешит. Опаснее нет таких людей. Тут пришел лифт, и я открыл дверь.

Мало мне было учителей в школе, так теперь на мою бедную голову еще появилась представительница Академии педагогических наук.

— Исправлю двойку, — сказал я.

— Вот видишь, ты же еще и обижаешься. Считаешь, конечно, что с тобой поступили несправедливо, — сказала она. — А ведь ты не знал урока.

Кто-то крикнул сверху, чтобы закрыли дверь лифта, и лифт снова укатил от меня.

— Я правду сказал про Суворова! — возмутился я. — А он ко мне придрался.

— У тебя правда получилась однобокая, — сказала она. — Александр Васильевич Суворов — великий русский полководец и патриот...

В это время Казя высунула свою цыплячью мордочку, увешанную бантами, и пропищала:

— Мамочка, купи мне мороженое за двадцать восемь копеек.

— Подожди, Казя. — Она ждала, что я ей отвечу.

Ловко она меня обошла, я же во всем оказался виноват, хотя каждому дурачку было ясно, что любезнейший Сергей Яковлевич просто придрался ко мне и у меня поэтому

отпала охота отвечать урок. А тут получилось, будто я против исторической справедливости.

— Субординация, экзерциция, дисциплина, чистота, опрятность, смелость, бодрость, храбрость, победа, слава, солдаты, слава! — протараторил я, чтобы отвязаться от нее и показать, как я отлично изучил литературное наследство Суворова.

Казя смотрела на меня и, по-моему, даже забыла про мороженое за двадцать восемь копеек — так ее потрясла суворовская поговорка в моем исполнении.

— Ты что, вообще против Суворова? — спросила Нина Романовна и улыбнулась.

Когда так улыбаются, мне всегда обидно, и тогда я говорю то, что мог бы и не говорить.

— Нет, я не против, — сказал я. — Но мне не хочется, чтобы из него делали Котовского. Все-таки он был за царя и крепостник.

— Вот как! — сказала она. — Вот ты какой... — и прикусила язык.

Я открыл дверь лифта: разговор был окончен, но она вдруг сказала мне ■ спину:

— Между прочим, мы с твоей мамой в детстве были подруги. (Я повернулся к ней: интересно было, что она еще произнесет в свое оправдание). Может быть, по старой памяти возьмешь опеку над моей Казей?

Хотел ей крикнуть: «Спасибо за доверие!» — но не крикнул.

— Пожалуйста, — сказал я и добавил с угрозой: — Мы ее кое-чему научим.

На этом мы разошлись.

Дома мама ■ дед пили чай и беседовали. Но в тот момент, когда я вошел в комнату, в передней зазвонил телефон. Мама торопливо встала — видно, она боялась, что я опережу ее, — и выскочила из комнаты. Но там, в передней, она поче-

му-то не сняла трубку, и телефон по-прежнему звонил. Потом он замолчал и вновь затрезвонил.

— Юра! — позвала меня мама. — Если это Геннадий Павлович... я ушла ■ вернусь не скоро...

Она скрылась в комнате, а я снял трубку. Конечно, это был он.

— Ее нет дома, — сказал я. — Она вернется не скоро, — и повесил трубку.

— Иди пить чай, — сказала мама.

Она старалась вести себя так, точно все у нас снова пошло по-старому. И тогда я стал ей рассказывать о Нине Романовне. Может быть, ей это интересно, раз они в детстве были подружками.

11

На следующее утро, в восемь, я уже стоял около дома Кулаковых. Выбрал потайное место, чтобы не бросаться в глаза, и поджидал Ивана. Решил перехватить его до школы, чтобы рассказать, как я великолепно выучил историю, и помириться с ним.

Только скорее бы он появился, и я сделал бы самое трудное и неприятное: подошел к нему и произнес первое слово. А потом все пойдет нормально.

Наконец я увидел, что кто-то открывает дверь подъезда Кулаковых, и медленно пошел вперед. Мне хотелось, чтобы Иван догнал меня на ходу и получилось бы, будто мы встретились случайно. Я слышал, как тяжело хлопнула дверь и этот «кто-то» стал догонять меня, тихо напевая себе под нос песенку.

Все было совершенно ясно: позади меня шла сама Тошка Кулакова. Она всегда ходит с песенкой, что-то там мурлычет под нос. Вроде бы очень тихо, но мне с ее песенкой встречаться было ни к чему. И поэтому я прилип к первой газете, которая висела на моем пути.



Шагов ее не было слышно, потому что рядом затахтел бульдозер, который сгребал мусор на стройке нового дома.

И тут я почувствовал, что кто-то дышит мне прямо ■ затылок, и не просто дышит, а нахально так, нарочно пускает струю воздуха в шею. Это, конечно, были ее штучки.

— Что нового пишут в газете? — спросила Тошка.

Видно, ей надоело дуть.

— Большое спасибо за обдувание, — сказал я. — А то мне очень жарко.

— Пожалуйста, — сказала она деланным, хриплым голосом. — Всегда рада помочь товарищу. — Тошка сегодня была какая-то другая, волосы у нее были причесаны, как у мальчишки, на пробор.

Я снова отвернулся. Ну что бы ей уйти, раз от нее отвернулись. Ни за что!

— Что нового пишут ■ газете? — повторила она.

— А ты что, сама разучилась читать? — спросил я.

— Я люблю,— сказала Тошка,— когда мне читают вслух.

— Отстань,— сказал я и выразительно посмотрел на нее. Ну и характер, никто из наших девчонок не выдерживает моего взгляда, а она даже не моргнула.

— Между прочим,— сказала Тошка,— зря поджидаете. Иван заболел.

— Как — заболел? — не понял я.

— Очень просто. Ты его вчера расстроил, он и заболел. Она убежала, а я понуро поплелся следом. Но по мере того как я приближался к школе, настроение у меня улучшалось, потому что никто ведь не знал, кроме Тошки, что я не помирился с Иваном. И я вошел в класс, как всегда, и, помахивая портфелем, стараясь изобразить полную беззаботность, направился к своему месту.

Первым на меня налетел Рябов, эта ехидная Курочка Ряба.

— А-а-а... — Он был в восторге от моего появления. — Пришел бывший друг Кулакова.

Ему бы подружиться с Тошкой. Неплохой бы вышел дуэт.

— Бывшая звезда киноэкрана! — крикнул кто-то мне в спину.

— Бывший верный Санчо Панса! — крикнул какой-то грамотей.

И все, кто был в классе, рассмеялись, и я понял, что после месячного величия, до которого меня подняла дружба с Иваном, я снова превратился в самого обыкновенного человека. Но в следующий момент я по привычке скосил глаза на парту Кулаковых и увидел, что Тошки еще не было на месте.

Я развернулся в сторону Рябова и небрежно произнес:

— Кстати, Иван заболел. Я у него вчера весь вечер просидел. С его отцом познакомился, он мне про свои полеты рассказывал.

— Ах, какой верный Санчо Панса,— уже без энтузиазма повторил, как всегда, чужую остроту Рябов.

Но все было поставлено на свое место, и я снова для всех стал ближайшим другом Ивана Кулакова.

12

Уже целую неделю Иван болел, и я по-прежнему был хозяином положения. Я так ловко устроился, что каждый день выбирал момент, когда его милой сестрички не было в классе, и выкладывал очередную порцию новостей об Иване и о его знаменитом отце.

Для этого я прочел книгу одного летчика-испытателя и теперь вовсю строчил оттуда историю за историей. Неплохо получалось. Когда я рассказывал, все ребята слушали. Настоящие ведь истории, невыдуманные. Даже этот зубрила и вечный «остряк» Рябов и тот уши развесил.

Врал я без запинки, самому противно было слушать. Только по утрам, когда открывал дверь в класс, у меня на секунду замирало сердце — боялся увидеть рядом с Тошкой ее брата.

В этот день вместе со мной из школы вышел Рябов. Мы прощались немного вместе, а потом я сказал:

— Ну, я пошел. Мне к Ивану надо.

Рябов как-то помялся, поставил на меня свои круглые, испуганные глаза и попросил:

— Возьми меня к Кулаковым.

— Ты что? — сказал я. — Обалдел... К больному? — повернулся и зашагал своей дорогой.

Так плелся потихоньку и думал о своей жизни, о матери, которая теперь всегда была в плохом настроении и все время смотрела на меня, точно я виновник всех ее неудач. И вдруг в переулке Кулаковых я столкнулся носом с Ленкой и Зиной.

Они преспокойно стояли, точно попали сюда совершенно

случайно, и ели мороженое. Меньше всего сейчас мне хотелось встречать этих птичек: Зинку, которая обо всем догадывается, и Ленку-расстригу, из-за которой я потерял, может быть, лучшего друга. Но они мне так обрадовались, как будто мы расстались не двадцать минут назад, а полстолетия.

— Ты не к Ивану идешь? — робко пршептала Ленка.

— К Ивану, — ответил я. — А что?

— Передай ему от меня привет, — сказала она.

Только этого не хватало. Елѣ убежал от Рябова, а теперь они. Как-то надо было от них тоже отделаться, а то еще скажут: мы тебя подождем, ты нам потом расскажешь, как ты передал привет. К Тошке они не лезут, стесняются.

— Романтика, — сказал я.

— Что? — переспросила Ленка.

— Все тайное станет явным, — сказал я.

И вдруг Ленка взвилась и прямо на меня с кулаками.

— Много ты в этом понимаешь! — закричала она. — Чурбан несчастный.

Это было уже оскорбление, это было мне на руку.

— На каждый удар я отвечу двойным ударом. — Я стал в боксерскую стойку.

— Опять дурачишься, — сказала Зинка. — Опять строишь из себя клоуна. Совсем не смешно.

— Приветик и салютик, — сказал я и прошел мимо них.

Пусть они обо мне думают что хотят. Шел и думал, как выкрутиться из этого положения. Если пройти мимо дома Ивана, то они начнут приставать, почему я к нему не зашел. А если войти, там у них лифтерша дотошная: к кому да зачем и еще может по телефону позвонить к Ивану, предупредить его, как министра, что к нему пожаловали.

И тут меня догнала Ленка. Она немного помялась и сказала:

— Так передашь привет?

Зинка стояла поодаль и делала вид, что не прислушивается к нашему разговору.

— Я чурбан, как вы смели только что заметить, который ничего не понимает в романтике,— сказал я. Она покраснела, так ей и надо, а я продолжал: — У чурбана деревянная голова. Мне трудно будет запомнить твою просьбу.

— Солнце разогрело твою деревянную голову, и в ней зашевелились мысли.— Лена на ходу начала нашу игру в слова.

Видно, ей здорово нужно было, чтобы я передал Ивану привет, чтобы он слышал о ней, если она на меня не обиделась.

— Солнце разогрело голову,— ответил я,— но в ней зашевелились злые мысли.

— Солнце пригрело посильнее,— сказала Лена,— и злые мысли исчезли.

Теперь она просто ко мне подлизывалась. Вот до чего дошла старушка. Неинтересно стало играть. Не люблю, когда другие унижаются. Мне даже стыдно было на нее смотреть, но я все же поднял глаза. Ее лоб пересек тоненький длинный волосок морщинки, от виска к виску.

Ленка начала считать:

— Раз, два, три...

В эту игру я никому не проигрывал, даже самому Ивану. Мне ничего не стоило придумать еще тысячу фраз и победить Ленку. Я, например, мог сказать: «Злые мысли у меня легко исчезают, когда я разговариваю с добрыми людьми»,— но я промолчал.

— Семь, восемь, девять, десять... Победа! — закричала Ленка.— Проиграл... Значит, передашь привет?

Дом, который был справа от нас, наступил на солнце, и в переулке сразу все изменилось. Морщинка у Ленки на лбу пропала.

— Персональный? — спросил я.

— Можно и персональный,— сказала Ленка.— Даже лучше персональный...

Повернулась и пошла к Зинке. А я стоял и все еще не

мог прийти в себя. Выходит, она скучала об Иване и совсем этого не стеснялась. А это не каждый может. Ноги она смешно ставит: след в след, точно идет по веревочке, как циркачка. А я, когда знаю, что мне смотрят в спину, просто не могу шагу шагнуть: нога за ногу цепляется и хочется побыстрее упасть.

Но вот они оглянулись и стали смотреть на меня. Теперь их уже не перестойшь. Я бросился в подъезд и стал разыгрывать перед лифтершей дурака: назвал какую-то квартиру, которая была в другом подъезде, стал расспрашивать, на каком она там этаже, но она меня вдруг узнала. Обычно она меня никогда не узнаёт и каждый раз, когда я прихожу к Ивану, выпрашивает всю подноготную, как какой-нибудь следователь по особо секретным делам. А тут узнала и чуть не впихнула в лифт, чтобы я поднялся к Кулаковым. Я от нее еле вырвался и без оглядки побежал вниз по лестнице.

В дверях мы столкнулись носами с Рябовым. Ну и денек сегодня. Все-таки он, видно, решил нанести визит вежливости Ивану.

— Ты что здесь околачиваешься? — спросил я.

— Я? — Он сделал круглые глаза, удивительно, до чего это у него ловко получалось. — Я просто так...

Нет, к Ивану он, кажется, не собирался. Что же он тогда тут делает? Неужели следил за мной? Нечего сказать, благородная Курочка Ряба.

— А если я про тебя Ивану расскажу? — спросил я. — Как ты думаешь, погладит он тебя по головке?

— Честное слово, я просто так...

Он здорово струсил, даже неприятно стало; что-то там лопотал и лебезил передо мной, а потом стал зазывать меня к себе в гости: «Пойдем да пойдем. Я тебе свой новый фотоаппарат покажу». Он так унижался, что я уступил ему и зашел.

Нам открыл дверь его маленький братишка, он продержал нас минут десять. Шумел там за дверью, тарахтел, но

не открывал. Оказывается, у них в двери вставлен оптический глазок, в него посмотришь и видишь, кто стоит за дверью. Ну, а этот братишка Рябова еще маленький, и, чтобы ему дотянуться до глазка, надо принести стул и взобраться на него.

Наконец он открыл нам дверь. Это был совсем маленький мальчик, с осторожными глазами и с завязанным горлом.

— Хорошо, что ты пришел, — сказал мальчик. — А то я все один, один... — Лицо у него сморщилось, и он вот-вот должен был зареветь.

— Ну, не плачь, не плачь, — сказал Рябов. — Он, понимаешь, болен и целый день один дома.

Рябов вышел из комнаты.

— Тебе что, скучно? — спросил я.

— Скучно, — унылым голосом ответил он.

Я пододвинул стул к окну, подхватил мальчишку на руки — он легонький был — и сказал:

— Смотри в окно. Там много интересного: троллейбусы, машины, люди.

Он постоял немного на стуле, потом сказал:

— Пожалуй, я сяду, а то еще упаду, — и сел.

Я подумал, что когда он подрастет, то будет точно таким, как Рябов.

Но тут вернулся Рябов и начал демонстрировать свой новый фотоаппарат, а потом стал показывать фотографии своей работы. У него были фотографии и отца, и матери, и братишки: штук сто, целая кipa. И на всех у них были одинаковые испуганные, осторожные глаза, просто какое-то испуганное семейство. И вдруг, когда Рябов уже забрал у меня фотографии, откуда-то появился его тихий братишка и сказал:

— Вот очень хорошая фотография, — и протянул ее мне.

Ну, если бы он подсунул мне бомбу, которая должна была взорваться через секунду в моей руке, я бы меньше удивился.

Это была Тошка. Она была как живая: волосы у нее были завязаны конским хвостом и кончик хвоста она держала в зубах. Есть у нее такая привычка.

Вот он почему, оказывается, дежурил возле дома Кулаковых. Его интересовал совсем не Иван, а некто другой, точнее, другая.

Я смотрел на Тошку ■ не мог оторваться: хорошо она получилась, просто красавица.

— Здорово ты фотографируешь, — сказал я. — Высший класс.

А Рябов застыл, стоял как лунатик. Другой бы на его месте дал подзатыльник своему незадачливому братцу, чтобы в следующий раз не совал нос в чужие дела, но он этого не сделал. Наконец Рябов взял у меня дрожащей рукой фотографию, хотел что-то сказать и захлебнулся ■ собственными словами. А у меня настроение почему-то совсем испортилось, захотелось побыстрее уйти.

— Пожалуй, мне пора, — сказал я.

— Подожди, — выдавил из себя Рябов. — Я тебе объясню.

— А что тут объяснять, — ответил я.

— Нет, нет, нет! — сказал Рябов. — Ты, наверное, все не так понял. Я ее случайно сфотографировал. — Он на ходу придумывал, как оправдаться. — Мы с Борей гуляли... У меня был аппарат... Вижу, идет Кулакова... Вот я ее и сфотографировал. Она даже не видела... Ты у Бори спроси. Правда, Боря?

Младший Рябов тихонечко стоял рядом: догадался, что подвел брата, и, видно, страдал от этого.

— Правда, — прошептал он.

— Да ладно вам, — сказал я и пошел к выходу.

Рябов семенил следом за мной.

— Ты только никому не говори... Хочешь, я тебе за это что-нибудь подарю...

— Эх ты, Курочка Ряба! — Противно было его слушать.

— Тише, тише, — сказал Рябов, — Боря не знает, что

меня так дразнят.— И добавил: — Ты все же никому не говори про это...

А я вдруг спохватился, что даже забыл, как Рябова зовут, Курочка Ряба ■ Курочка Ряба. Неловко как-то. Что он, не человек, что ли?

— Подумаешь, я сам не лучше тебя,— сказал я.— С Иваном я не помирился, и дома у него не бываю, и отца его никогда не видел. Все врал вам. Так что мы с тобой два сапога пара.

Я не стал ждать, когда он переварит мое историческое сообщение, хлопнул дверью с оптическим глазком и был таков.

Теперь мне оставалось только все рассказать Ивану.

13

Шел мелкий-мелкий дождь, и не видно было неба, а какая-то серая мгла, и шпиль высотного дома на Смоленской площади пропадал в этой мгле, и даже не видно было красного огонька, который обычно горел на его макушке. Сократик почему-то подумал, что сейчас очень опасно лететь на самолете.

Сократик шел в облаке из мельчайших капель. Ему нравилось так идти, ему было как-то одиноко — приятно и немножко жалко себя. Когда он проходил мимо дома Кулаковых, из подъезда выскочила Тошка, чуть не сбила его с ног.

Сократик опустил голову, сделал вид, что не заметил ее. Мимо прошли ее туфли, ее сумка почти коснулась его руки. Он прошел немного и оглянулся, и Тошка оглянулась в этот же миг. Сократик резко повернул голову, но было уже поздно: Тошка засмеялась.

— Ты чего оглянулся? — спросила Тошка.

— Просто так,— ответил Сократик.

— И я просто так,— неожиданно сказала Тошка.—

Вижу, идет знакомый, чего-то задумался, глазами сверлит асфальт. Думаю: чего он сверлит? Вот и оглянулась.

Тошка стояла и улыбалась. Небрежно выстукивала каблучком песенку, которая звенела у нее в голове.

У нее всегда в голове звенела какая-нибудь песенка. Иногда это были знаменитые модные песенки, а иногда она придумывала их сама. Веселая была жизнь: то дождь, то снег, то солнце, то зеленая трава, то широкая река, то интересная картина, то мечта про будущее.

Хорошо, что попался этот незадачливый Сократик, — одной неохота идти в магазин. Только бы он не сбежал, а то иногда говорит-говорит, а потом вдруг развернется на сто восемьдесят, и нет его. Ясно, что боится девчонок.

— А ты что, вообще против девчонок? — спросила Тошка.

— Вообще я не против, — промямлил Сократик.

— А в частности?

Это уж было совсем неожиданно. Сократик поднял наконец голову и увидел капли дождя в рыжих волосах Тошки.

— Ты далеко? — Он испугался, что Тошка вдруг исчезнет. Ведь так легко исчезнуть, раствориться в этой серой мгле, как растворился красный огонек на высотном здании.

— В магазин, — сказала Тошка. (Интересно, что он будет делать дальше?) Она все еще выстукивала каблучком эту звонкую, шальную песенку, которая сидела в ней.

— И я иду в магазин, — тихо ответил он, хотя никто его в магазин не посылал. — За хлебом.

Сократик бы надо было добавить: «Давай пойдем вместе, нам по пути», но он промолчал.

Нет, от него не дождешься ничего, только промокнешь. Пора уходить. Тошка перестала выстукивать песенку, веселая жизнь стала чуть-чуть печальнее.

— Пойдем вместе, — вдруг сказала она и сама испугалась собственной смелости. Простое слово «вместе», несчастное наречие, а она испугалась. Вот он сейчас откажется,

а завтра расскажет в классе, и ее подымут на смех! мол, к мальчишке пристаешь.

— Пойдем, — как эхо, ответил Сократик.

— Что ты кричишь? — спокойно сказала Тошка. Она уже перестала волноваться, ей стало радостно, легко и смешно. — Я не глухая. — У нее теперь было такое настроение, точно она шла не в магазин за продуктами, а на школьный вечер, где обязательно будут танцы и можно приходить не в форме.

Отчего у нее было такое настроение, она ■ сама не знала. А рядом с ней шел Сократик... Шел себе, и все, с безразличным видом. У него был курносый нос — это раз, толстые губы — это два... А что, если бы он положил ей руку на плечо, как ходят взрослые ребята с девушками? Ну, тогда бы она ему показала, какая она веселая...

Они шли рядом, и вроде бы каждый шел отдельно. Иногда он косил на нее незаметно глаза, а иногда ловил ее взгляд. Потом он стал смотреть на витрины: в витринах шли их отражения. Они шли там рядом, гораздо ближе, чем в действительности, и были как-то значительней: выше ростом, представительней. Они шли рядом, то вытягиваясь, то укорачиваясь, плавая в лужах, натыкаясь на прохожих и сливаясь на какой-то миг с ними, потом снова отрываясь и оставаясь вдвоем на всем свете.

Они блуждали уже больше часа и за все это время не сказали почти ни слова. Они бы могли поговорить побольше об уроке истории, на котором Сократик схватил двойку, и осудить Сергея Яковлевича, могли бы вспомнить Ивана, но они молчали. Шли сосредоточенные и молчаливые. Да и кто сказал, что настоящее веселье — это когда кто-нибудь без умолку трещит языком? Нет, только не Сократик и не Тошка.

— Мне надо позвонить маме, — сказала Тошка и вошла в будку автомата.

Сократик увидел при слабом желтоватом огоньке будки,



что у Тошки волосы потемнели от дождя и промокло пальто.

Она стояла, крепко сжав губы, и ждала, когда там, на другом конце провода, снимут трубку, и ей казалось, что она звонит из какого-то другого мира.

— Мама,— сказала она.— Я встретила товарища... Из класса.

— Товарища? — спросила мама.

— Товарища,— эхом ответила Тошка.

— Какого товарища? — настойчиво спросила мама.

— Ты его знаешь... Мне неудобно...

Сократик отошел от будки, чтобы Тошке было «удобно».

Тогда она прикрыла дверь и шепнула:

— Сократика, только ты не говори Ивану...

Тошка распахнула дверь автомата и подплыла к Сократу: она готова была продолжать совместное путешествие.

— Что самое ценное в жизни? — вдруг спросил Сократик.

— Человеческая жизнь,— ответила Тошка.

— Неправда,— сказал Сократик.— Сейчас я убью тебя фактом.— Он всех всегда убивал фактами.— Если самое главное — человеческая жизнь, то почему иногда люди идут на смерть?

— Например? — спросила Тошка.

— Например? Революционеры, ученые, летчики, космонавты!.. Идея — вот что самое главное в жизни.

— А почему тебя прозвали Сократиком? — спросила Тошка.

— Был такой философ в Древней Греции. Сократ. Я раньше ничего о нем не знал. Честно. А когда умер отец, я перестал разговаривать. Вот даже иногда хотелось что-нибудь сказать, а не мог. Однажды на уроке меня спросили, почему я все молчу. Тогда Зинка — она пыталась меня расшевелить — сказала: «Он думает... Он Сократ... У него Сократова голова...» Честно. И с тех пор пошло: Сократик, Сокра-

тик... Прибавили наши остряки частицу «ик», потому что я был самый маленький в классе.

Тошка посмотрела на свое плечо, оно было чуточку выше плеча Сократика, ну самую чуточку, но все-таки выше. Потом их плечи вдруг сравнялись, а у Сократика стала какая-то неестественная походка. Тошка догадалась — он шел на носках. Она закусил губу, чтобы не засмеяться, но потом у нее в голове снова зазвенела песенка, и весь смех как рукой сняло. Она чуть-чуть отстала от него, чтобы их плечи не были рядом и чтобы он мог идти нормально, потому что сколько можно идти на носках.

— А ты знаешь, наш Иван все время был ниже меня ростом, — сказала Тошка. — Он за это лето вымахал.

Они вошли наконец в гастроном на Смоленской площади, и Сократик, который не хотел говорить о своем росте и не хотел, чтобы его жалели, сказал:

— Давай выпьем коктейль молочный...

— Можно, — ответила Тошка. — Если ты одолжишь мне деньги, а то у меня ни копейки лишней.

Сократик разжал кулак и показал серебряный рубль, заветный рубль, на который он мечтал приобрести что-нибудь нужное. Например, перочинный ножик, которым удобно было бы вырезать всякие штучки из дерева.

Они встали в вечную очередь к стойке молочных коктейлей среди взрослых девушек и парней и стали слушать, как те громко, не стесняясь, разговаривали, а парни исподтишка покуривали сигареты.

Сократик любил прислушиваться к случайным разговорам, ему нравилось узнавать чужие маленькие тайны, которые неожиданно влетали в него, и он ими жил и подолгу о них думал. Он всегда искал в толпе друзей, или ловил острое словцо, или улыбку, или чье-то хорошее настроение, или принимал чью-то заботу на себя.

Впереди них стояли парень и девушка, худые и долговя-

зые. Парень был в куртке, с рюкзаком за плечом, а девушка в пальто с модным разрезом.

— Вчера встретил Лизу, когда возвращался из института,— сказал парень.— Показал ей это.— Парень поболтал в воздухе пальцем с обручальным кольцом.

— Ну и как она отреагировала? — спросила девушка.

— Говорит: «Вы счастливые сумасшедшие... И, конечно, подонки... Не могли устроить по такому случаю сабантуй?» Я ей сказал: «Прости, денег ни копейки, все ушло на экипировку». Рассказал, что купили байдарку и совершили путешествие... А она говорит: «Мы придем со своей бутылкой...»

— В воскресенье, видно, всем классом завалятся,— сказала девушка и посмотрела на Сократика и Тошку.

А те стояли, как мыши, и не знали, что делать, и боялись разговаривать, и девушка перехватила напряженный взгляд Сократика и поняла, что он слышал их разговор.

Она вытянула шею и что-то зашептала на ухо парню, а тот посмотрел на Тошку ■ Сократика, согласно кивнул головой, а она ему что-то шептала, шептала, а он слушал ее и чуть грустно, чуть мудро, повзрослевше улыбался.

Потом, когда они уже все вчетвером стояли с бледно-розовым коктейлем в стаканах, парень вдруг улыбнулся им и сказал:

— За хороший вечер!

И Тошка ответила:

— Спасибо!

И больше никто ничего не сказал. Они допили свои стаканы, поставили их на стойку и разошлись. Только Сократу стало жалко, что нельзя первого встречного сделать другом на всю жизнь.

Но все же эта случайная встреча изменила их в чем-то: они стали смелее, увереннее. Они громко разговаривали на виду у всех. Тошка командовала Сократиком, посылая его то в одну очередь, то в другую. И Сократик даже признался Тошке, что его никто не посылал в магазин, и от этого им

стало еще лучше. Наконец они купили все, что им полагалось, и вышли из гастронома.

Сократик проводил Тошку до самого подъезда.

— Ну иди гуляй дальше, — сказала она, засмеялась и добавила: — Печорин, — повернулась и вбежала в подъезд.

Испарилась, растаяла в дверях.

Сократик постоял несколько минут и побежал домой.

Он чувствовал во всем теле необычную легкость. Ему хотелось гулять и гулять, разговаривать с людьми, и тот мир, который только что его огорчал, куда-то отошел, ■ здесь была эта легкость и ясность. Он вспомнил весь путь, что проделал с Тошкой, и представил, что она по-прежнему идет рядом с ним.

И ему захотелось от непонятной радости разбудить этот сонный переулочек.

14

Сократик открыл классную дверь и подумал, что сейчас он увидит Тошку. Ему так хотелось после вчерашнего увидеть Тошку, и тут у него что-то заняло в груди и изнутри полыхнуло ему в лицо: он увидел Ивана, который стоял в окружении ребят.

Сократик вошел в класс, и толпа молча расступилась перед ним, ■ он сразу понял, что все всё знают. Они знают о том, что он, Сократик, ни разу не был у Ивана за время болезни, ни разу в жизни не встречался со знаменитым летчиком Кулаковым и никаких историй от него не слышал.

Все-все смотрели на Сократика. Только Тошка отвернулась, и он видел ее высокий рыжий хохолок на макушке.

— А, Сократ-ик, — сказал наконец Иван, при этом, произнося частицу «ик», нарочно громко и издевательски икнул. — По совместительству барон Мюнхаузен. Лучше бы двойку по истории исправил, чем заниматься трепотней. — Иван произнес это жестко и решительно, как какой-нибудь

диктатор, который привык приказывать и чувствовать себя всегда правым.

Сократик промолчал, не нашелся что ответить, не сумел все обратить в шутку, не сумел захохотать и ловко спрятаться за этим, не сумел просто сказать: «Извини, Иван, я пошутил». Он почти не слышал слов Ивана, а только ощутил их, как острую боль, как невероятное унижение, которому не будет конца. Теперь он навсегда потерял друга. Навсегда потерял право быть равным среди всех и навсегда-навсегда потерял тот вечер, который еще накануне сделал его таким необычайно счастливым.

Сократик прошел к своему месту и тихо сел за парту. Он поднял впервые за эти долгие минуты глаза и отыскал в толпе того, кто его предал. Рябов стоял рядом с Иваном. Их глаза встретились, и Рябов тут же отвернулся.

Значит, его предал все-таки Рябов. Ну что ж, это его дело. Он, Сократик, никогда не был и не будет ни предателем, ни доносчиком.

Рябов даже не понял, как это произошло. Просто ему захотелось выслужиться перед Иваном, и он выложил все Сократике. Теперь же Рябов больше всего боялся, что Сократик ему ответит тем же и расскажет про фотографию Тошки Кулаковой.

Ночью Сократик неожиданно проснулся, его подбросило на кровати, точно внутри у него что-то взорвалось. Он сразу вспомнил Геннадия Павловича, потом Ивана и еще раз пережил ужас их разговора. Потом вспомнил, как после школы шел следом за Тошкой, надеясь, что она его окликнет, но Тошка ни разу не оглянулась. А если бы и оглянулась, разве он смог бы подойти к ней? Нет, он просто ничтожный человек, и правильно Тошка сделала, что не оглянулась, и правильно, что Иван оскорбил его... Все, все правильно, только ему не стало легче от сознания собственного ничтожества.

Ничего хорошего не вспомнишь ночью, когда вот так неожиданно проснешься.

Сократик слышал, что в соседней комнате разговаривают. Это до сих пор не спали мать и дед. Он хотел крикнуть им, чтобы разрубить ночное одиночество, но тут же, конечно, вспомнил, что весь вечер не разговаривал с матерью.

Началось с того, что он зашел в трикотажный магазинчик, чтобы посмотреть на свою новую знакомую. Сократик не видел ее с тех пор, как они потерялись в тоннеле, но оказалось, что она там уже не работает. Он повернулся, чтобы уйти, и увидел Геннадия Павловича, входящего в магазин.

Сократик не хотелось с ним встречаться, и он, чтобы задержаться, спросил имя той девушки. Ему ответили, что Наташа. Тем временем он скосил глаза: Геннадий Павлович стоял у окна и смотрел на улицу.

Ясно было, кого он здесь подстерегал. И это было не в первый раз. Как-то Сократик видел Геннадия Павловича, болтающегося около кинотеатра, который помещался в их доме. Когда тот заметил Сократика, то громким, неестественным голосом стал спрашивать, нет ли у кого лишнего билета.

Сократик вышел из магазина и нарочно замедлил шаги у витрины. Их глаза встретились, и Геннадий Павлович торопливо отвернулся. «Совсем как Рябов», — подумал Сократик. Конечно, ему стыдно, нехорошо ведь получается. Он здесь, а дома его ждет жена. Да, да, жена. Сократик узнал о ее существовании в тот вечер, после встречи около кино.

Она пришла к ним домой, и Сократик разговаривал с ней. Она была высокая, круглолицая, похожая на певицу из хора имени Пятницкого. Ее голос до сих пор звучит у него в ушах...

— У вас нет... Геннадия Павловича? — спросила она спокойным голосом.

Сократик случайно посмотрел на ее руки и увидел: она прямо разрывала свой платок. Ничего себе спокойная.

— А...— начала она.

Но Сократик опередил ее ■ сказал, что матери тоже нет дома.

— А ты ее сын? — спросила женщина.

Сократик кивнул.

— У нас тоже есть мальчик, твой ровесник.— Она грустно улыбнулась и ушла.

■ тот день мать вернулась поздно, но сегодня, как это ни странно, она была дома. Сократик, чтобы опередить ее уход, собрался ей рассказать о той женщине, о «певице» из хора Пятницкого. Он начал с того, что видел Геннадия Павловича, и заметил, что это известие было для матери неожиданным и взволновало ее. Она минуту поколебалась, потом все же попудрила нос и ушла. Вернулась она в хорошем настроении, но он после этого весь вечер промолчал...

Сократику стало нестерпимо жалко себя, и он повернулся на другой бок, чтобы заснуть... А дед, как нарочно, говорил громко и мешал ему.

— Ты помнишь его,— долетел до Сократика голос деда.— Он приходил к нам на старую квартиру несколько раз. Сейчас ему под восемьдесят. До революции он работал у купца Мельникова управляющим мыловаренным заводом и занимал второй этаж ■ нашем доме. А в революцию вместе с Мельниковым сбежал на юг, к белым. Только потом Мельников укатил в Париж, а Назаров вернулся. Квартиру его к этому времени разделили на четыре и заселили, и он зашел к нам, поговорил и уехал в неизвестном направлении. Потом появился перед войной и в последний раз в сорок пятом, когда уже война кончилась.

— Теперь я вспомнила,— услышал Сократик голос матери.— Этот Назаров называл меня барышней.

— Вызывает он меня в больницу.— Голос деда упал до шепота.

Сократик снова задремал, и ему приснилось, будто он идет по Садовому кольцу ■ замечает на противоположной стороне девушку из трикотажного магазина. Он сложил руки рупором ■ стал звать ее: «На-та-ша! На-та-ша!» Хорошо получилось, что он узнал ее имя. Но разве возможно пере-кричать грохот машин. Тогда он бросился к тоннелю, чтобы перехватить ее, однако на противоположной стороне вместо Наташи его ждали Геннадий Павлович и Рябов, который держал в руке фотографию Тошки. И Сократик, вместо того чтобы пробежать мимо них, стал с ними вежливо разговари-вать и предлагать им свою дружбу...

И тут он услышал громкий голос деда ■ забыл про Ген-надия Павловича и Рябова.

— Понимаешь, в стене дома, в бывшей квартире Наза-рова, — сказал дед, — большое богатство... План точный дал. Боятся, что дом снесут, пока он в больнице. Вот он и взял меня в долю. — Дед хихикнул. — Не было счастья, так не-счастье помогло.

— Да ну, отец... Это рассказы для детей, — сказала мать. Она протяжно зевнула. — Спать хочется... Я сегодня устала...

— Ничего ты не понимаешь. Он, когда прятал это богат-ство в стену, думал — революция на время. Он поэтому и за границу не уехал. А потом боялся этот клад достать, ждал подходящего времени... Там золото, драгоценности... Эх, за-живем, заживем, заживем! — пропел дед. — Отдыхать будем, жить, есть, по курортам разъезжать. На людей будем смот-реть с прищуром: хочу — вижу, а хочу — нет. Тебя оденем как куколку. Заявишься на работу во всем новом, а они там рты откроют... Эх, заживем, заживем, заживем!

— Я куплю себе кожаную коралловую курточку, — ска-зала мама, — и такие же коралловые туфли на страшенном, высоченном гвоздике и маленькую шапочку из соболя... Тем-но-шоколадного цвета.

— Работу бросишь, — снова пропел дед.

— Я люблю свою работу,— сказала мать.— Я печатаю и каждый день узнаю что-нибудь новое.

— Ерунда все это, ерундистика,— сказал дед.— Узнаёшь! А сколько можно узнавать новое? Десять, пятнадцать лет или тридцать? Пока станешь старухой.

— Юрке купим самый дорогой велосипед,— сказала мать.— И магнитофон, как у Ивана Кулакова.— Она тихо и счастливо засмеялась.

■ соседней комнате погас свет, и откуда-то из темноты раздался голос отца:

— Значит, все предают тебя и меня, а ты их прощаешь?

— Я никого не прощаю,— ответил Сократик.

— А Рябова, а Геннадия Павловича?..

16

Утром, как только я вскочил с постели, сразу вспомнил про разговор деда и матери о кладе.

На кухне дед торопливо доедал завтрак. Он подозрительно быстро куда-то собрался.

— Ты далеко? — спросил я между прочим.

— Приятеля надо проведать,— ответил дед.— В больнице.

Дед хлопнул меня по затылку. Он так всегда делал, когда у него было хорошее настроение.

— А что это за друг у тебя появился? — спросил я.

— Назаров... Когда-то вместе жили,— ответил дед.— Одинокий. Надо уважить.

— Назаров? — переспросил я.

Но дед ничего не ответил и вышел. Видно, был занят собственными мыслями.

Ясно, какие были у него мысли.

— Мама, а ты этого Назарова тоже знаешь?

— Знаю. Он когда-то жил в нашем старом доме... А ты почему вчера был такой мрачный? Что у тебя случилось?

Как она ловко переменила тему разговора. Нет, здесь надо действовать с величайшей осторожностью, а то еще дед на самом деле из-за своей жадности понаделает дел.

— Иван мне рассказывал, что его отец уже пять раз разбивался, а ни за что не бросает своих самолетов. Говорит, ему без самолетов не жить.

— Просто он счастливый человек, — ответила она. — Ему больше всего нужны в жизни самолеты, и они у него есть.

— А тебе что больше всего нужно в жизни? — спросил я.

— Мне? — Мама нажала пальцем на кончик носа, и он стал у нее гармошкой. Она всегда так делает, когда думает. Ногти у нее на пальцах коротко острижены: с длинными, модными ногтями не попечатаешь на машинке. — Не знаю. — Она сказала «не знаю» так, что я почувствовал, что она вот-вот разревется. — Я мечтаю, — она попыталась улыбнуться, — купить тебе велосипед.

— И магнитофон, как у Ивана Кулакова? — почти шепотом спросил я.

Она удивленно посмотрела на меня, точно я произнес что-то сверхъестественное, и ничего не ответила.

Я стал собираться в школу, в эту проклятую школу, где меня поджидали одни неприятности.

— Юра, — окликнула она меня.

Я остановился.

— Нет, ничего...

Она хотела сказать мне что-то важное и не решилась. Конечно, она хотела рассказать о затее деда. Я стоял и ждал.

— Понимаешь... — Она помялась и спросила совсем другое, о чем, может быть, и не думала: — Тебе что, не нравится Геннадий Павлович?

— А что в нем хорошего? — спросил я.

— Как ты жестоко судишь о нем, — сказала она. — Хотя совсем не знаешь его.

Это было что-то новое, раньше она его так решительно не защищала.

Я молча вышел.

Когда я проходил мимо гастронома, то увидел деда. Он нес в руках мамину хозяйственную сумку. Из сумки торчала бутылка вина. Я остановился, и дед почти налетел на меня.

— Это все Назарову? — Я выразительно посмотрел на сумку, в которой, при ближайшем рассмотрении, увидел пачку печенья и коробку сливочной помадки.

— Ему, — как-то виновато ответил дед, полез в карман, покопался там и протянул мне монету: — На́ вот тебе, на мороженое, — повернулся ■ ушел.

Я чуть не упал от неожиданности, чуть не расплакался от восторга: мир не видел подобной доброты! Мой дед, жадюга из жадюг, и вдруг так, между прочим, отваливает мне полтинник. Дело принимало крутой оборот. Видно, вот-вот этот злополучный клад попадет к нему в руки. И тут у меня настроение резко улучшилось. Не было счастья, так несчастье помогло. Мне стало весело, и я побежал в школу.

Я вбежал в класс и нахально крикнул:

— Приветик!

Я так громко крикнул, что все посмотрели на меня: что это, мол, с ним случилось? При этом я скосил глаза на парту Кулаковых. Иван даже не посмотрел на меня. Ничего, Ванечка, когда ты узнаешь мою тайну, ты на меня помотришь. Тошка презрительно оглядела меня с ног до головы. И ты, Тошечка, попляшешь вокруг меня.

Я вам покажу, и вы все-все узнаете, что я не такой уж пропащий человек.

Я трахнул портфелем по парте так, что Рябов подскочил от неожиданности.

— Ты что, ошалел? — крикнул он.

Но ему я ничего не ответил, с ним я просто не разговаривал.

Я тут же решил подойти к Ивану на виду у всех и на-шептать ему на ухо про клад. Вот у них у всех вытянутся лица! Но потом передумал, решил до поры подождать, чтобы действовать наверняка. Я уже шел к нему, когда передумал, и поэтому для отвода глаз остановился около Ленки и спросил:

— Ну, как романтика?

Она сделала страшные-страшные глаза и отвернулась от меня. Не желала разговаривать, никто не желал со мной разговаривать из этого знаменитого пятого звена. Они все были очень гордые и принципиальные. Ничего, я завоюю свое место среди них.

Вот так я ■ досидел до конца уроков и, между прочим, схватил пятерку по истории.

17

После уроков Сократик, торопливо оглянувшись, свернул ■ переулок рядом со школой, ибо именно в этом переулке находился бывший дом таинственного Назарова, и этот дом для него был как мина с включенным взрывателем, и если эта мина сработает, может быть, многое изменится в жизни Сократика.

И вот он вошел в этот двор...

Двор был как гигантский колодец или как подземный тоннель: с трех сторон три огромных новых дома кружнопа-нельной кладки. В глубине двора стоял четвертый, замы-кающий дом: осколок старого мира.

Сократик долго и внимательно осматривал этот таин-ственный «осколок», щурил глаза, надеясь таким нехитрым образом проникнуть через его стены. Потом, поняв тщет-ность своей затеи, решил подойти к дому поближе. Он толь-ко на минуту задержался, чтобы посмотреть на маленькую девочку, которая выгуливала во дворе крохотную собачку

в большом наморднике. Чтобы намордник не спадал, девочка привязала его веревочкой к ошейнику.

— Кусается? — спросил Сократик.

Девочка помолчала, потом ответила:

— Нет, не кусается. Он щенок.

— А зачем же ты ему надела намордник? — спросил Сократик.

— Есть важная причина, — сказала девочка.

Она склонилась к собачке и сняла намордник. Собачка завизжала и несколько раз отрывисто звонко тявкнула.

Сократик подумал, что даже у собаки в этом мире есть неприятности. Потом он подумал: хорошо бы еще о чем-нибудь поговорить с этой парочкой; и тут его осенило, тут на него снизошло вдохновение поиска, и он небрежно, между прочим спросил:

— Ты не знаешь, Назаровы в этом доме не живут? — Все у него внутри напряглось и задрожало, и он даже покраснел, дожидаясь ответа.

— Назаровы? — переспросила девочка. — Там на втором этаже живет Петька, он еще в детсад ходит, с папой и мамой. А внизу музыкант один. Все остальные уехали. Этот дом сносят. Может, и ваши Назаровы уехали?

— Пойду узнаю, — сказал Сократик. Теперь он знал, что левая сторона дома пустует. — Привет.

— До свидания, — ответила девочка.

Он вошел в подъезд, старый, пахнувший сыростью, с обвалившейся штукатуркой, и посмотрел на двери с номером два. В этой квартире, по его агентурным данным, проживал музыкант. Потом развернулся и постучал, ради предосторожности, в квартиру, которая должна была пустовать. Никто ему не ответил. Тогда он храбро дернул дверь, и она открылась, а Сократик от усердия чуть не разбил себе нос.

В прихожей на полу валялась сломанная мебель. Сократик осторожно, стараясь передвигаться неслышно, стреляя глазами по сторонам, чтобы не пропустить какой-нибудь

важной мелочи для дальнейшего розыска, принюхиваясь носом, как хорошо тренированная ищейка, подошел к двери в комнату и приоткрыл ее.

Там тоже было пусто и валялась старая, ненужная рухлядь. Что, если назаровские богатства находились именно в этой квартире и дед успел их прикарманить? Сократик, уже без всякой осторожности, стал ощупывать стены квартиры, надеясь найти следы дедовского преступления. Но стены и в комнате, и в прихожей, и в кухне были не тронуты.

Он сел на подоконник, чтобы передохнуть, и вспомнил, что именно в этой квартире когда-то жила его мать, и подумал, что, может быть, вот на этой самой половице, на которой он сейчас стоял, не раз стояла она и смотрела в это окно.

Мама ему рассказывала, как отец приходил к ней на свидание. Отец садился в сквере на скамейку, а она гасила в комнате свет



и подглядывала в окно. Ей нравилось смотреть, как он ее ждет.

Сократик посмотрел в окно и увидел свою новую знакомую. Около нее крутился ее песик. Сократик поискал глазами скамейку отца и нашел...

На скамейке сидел какой-то человек ■ читал газету. Но вот он опустил газету, ■ Сократик узнал своего деда. Сократик отскочил от окна. «Значит, все в порядке,— подумал он.— Значит, мина еще не взорвалась. Теперь только нужно, чтобы дед раньше времени не догадался, что у него появился соперник».

За стеной заиграли на виолончели. Потом играть перестали, и чей-то мягкий, приятный голос сказал:

— Вы знаете, Михаил Николаевич, она необыкновенная женщина. Во-первых, талантлива, ей всего двадцать восемь, а она уже заканчивает докторскую диссертацию. Докторскую, понимаете? Первая из всего выпуска. Редкий, редкий человек. Добра, великодушна. Мы с ней вместе учились в школе. Потом я уехал: знаете, глупая мальчишеская фантазия, хотелось побродить по свету. А когда вернулся, она была уже кандидатом наук. Вот мы ■ поженились. Я пошел учиться в институт, она работала. Я, можно сказать, мужчина в полном здравии, здоровяк, жил за ее счет, и, поверьте, она меня ни разу не упрекнула. Необыкновенная порядочность. Полное отсутствие расчета, эгоизма. Знаете, как многие женщины: «Годы уходят, а у меня даже нет хорошего пальто». Когда у нас родился Петрушка, она ночи просиживала около него, а утром выпьет чашку кофе и на работу. А талант, боже мой, какой талант!

— Нет, не оскудела русская земля талантами и душевной красотой,— раздался из-за стены другой голос.— Не оскудела. Вот смотрю я на вас, Игорь, и душа моя радуется.

— Ну что вы,— сказал тот, который расхваливал свою жену.— При чем тут я? Вот Верочка! Как вы точно заметили, Михаил Николаевич: не оскудела русская земля талантами.

Сократик выглянул в окно, увидел, что дед покинул свой наблюдательный пост, и на цыпочках, чтобы не услышали те двое за стеной, что кто-то чужой случайно подслушал их разговор, вышел.

Остановился и теперь как-то по-новому посмотрел на дом. Маленькие, продолговатые окна, кривой на одну «ногу», в общем, совсем незавидный домишко, а он почему-то думает о нем с нежностью. Вроде ничего такого не произошло: он зашел в какой-то случайный дом, далеко не по собственному желанию, услышал голоса двух незнакомых людей — один из них хвалил необыкновенную Верочку, а второй просто играл на виолончели — и раскис. Даже более того, он поймал себя на мысли, что совсем забыл о назаровском богатстве и размышляет о незнакомых людях, жителях этого дома.

Он медленно прошел через двор, направляясь на улицу, изредка оглядываясь и все по-новому раздумывая о доме и сочиняя длинные истории, неизвестно зачем, про его жителей, как будто он их уже знал и как будто они дорогие для него люди.

Сократик увидел девочку с собачкой. «Кровожадный пес, могучий пес, — прошептал он про себя. — Пес-победитель».

Он подмигнул зачем-то девочке, но она строго посмотрела на него и ничего не ответила.

Она была занята важным делом: наблюдала, как ее пес познавал жизнь, то есть тыкался в каждую щель асфальта и скреб лапами, чтобы добраться до настоящей земли. У каждого человека свое важное дело и свои заботы. Даже у этой букашки-таракашки, у этой девочки, и Сократик это отлично понимал.

— Девочка, — крикнул Сократик, — как тебя зовут? — Он загадал, что ее зовут Тошкой.

— Надя, — ответила девочка.

Ну что ж, Надя так Надя. Теперь она для него будет не какая-то «букашка», а девочка Надя. Надежда.

Прошло еще несколько дней. Сократик совсем одичал. Ни с кем толком не разговаривал — ни с ребятами, ни дома. Только один раз Федор Федорович перехватил его в коридоре и стал спрашивать, почему он к нему не заходит. В ответ Сократик заговорщически улыбнулся и сказал, что скоро придет к нему с большой новостью.

Теперь его путь из школы домой всегда проходил переулком, в котором стоял назаровский дом.

Однажды, сидя на скамейке отца, Сократик догадался, чего выжидает дед. Ясно, что тот подстерегал, когда дом опустеет и можно будет спокойно взломать нужную стену и унести богатства. После этого каждый раз с робким сердцем Сократик заглядывал во двор, боясь обнаружить, что занавеси на окнах в доме исчезли, и его жители выехали, и пора вступать с дедом в решительную схватку.

Нет, он не боялся этой схватки, пусть она даже будет жестокой, но он был бы рад, чтобы ее не было. Так же он был бы рад, если бы никогда не было войн. И если бы люди никогда ничего плохого не делали друг другу, и если бы не было, к примеру, вообще денег.

Ах, как Сократик возненавидел эти проклятые деньги! Он теперь из-за них не может как следует с матерью поговорить: все какими-то намеками, полунамеками. И подозрительно смотрит на нее и думает: раз она не рассказывает ему про разговор с дедом, значит, рассчитывает на эти богатства.

Неужели ей так нужна какая-то коралловая куртка и шапочка из соболя, что она готова участвовать в этой дедовской истории?

Дед ее ошелмивал. Он так красиво описал ее будущую жизнь, и у нее голова закружилась. Дед думает, самое главное — это деньги. А самое главное — это совсем-совсем другое. Самое главное — это прийти туда, где тебя очень ждут,

и сделать что-нибудь славное для других, а чтобы самому ничего не нужно было, даже благодарности.

Дед сидел на скамейке и читал, как всегда, газету.

Конспиратор. Великий искатель чужого богатства. Сухопутный пират двадцатого века. Надо будет для него подобрать народные поговорки к случаю: «На чужой каравай рот не разевай» или что-нибудь в этом роде. Эфэф ведь говорит, что вовремя сказанное слово может спасти человека.

В сквере, во дворе, прогуливала собаку девочка Надя.

Она увидела Сократика и постаралась попасться ему на глаза. Кто-нибудь ведь должен ей помочь, а этот мальчик был очень вежливый.

— Кит,— крикнула она псу,— Кит, ко мне! — Ее голосок был такой нежный и робкий, а Сократик был так занят собственными мыслями, что не услышал ее.

— Что ты здесь высиживаешь? — грубовато и прямо спросил Сократик у деда.

Тот от неожиданности подпрыгнул.

— Вот манера подкрадываться,— возмутился дед.— До сих пор дрожу. Ты же знаешь, я не люблю этого и тебя просил: не делай так.— Теперь дед будет долго и нудно выговаривать Сократика и, может, вообще не ответит на его вопрос.— А ты все нарочно, нарочно...— Голос у деда, у этого мрачного пирата, был скрипучий и тенористый.

— Что ты здесь высиживаешь? — снова спросил Сократик.

Дед поглядел на Сократика, помолчал, потом назидательно ответил:

— Не высиживаю, а вспоминаю. В этом доме я прожил пору расцвета.

— А где ты здесь жил? — спросил Сократик как можно небрежнее.

— Я же тебе сто раз показывал,— сказал дед.— В первом этаже. Вон те три окна слева.

— А кто жил во втором этаже?

— Назаров.

— Тот самый, который сейчас в больнице лежит? — спросил наивный Сократик.

— Тот самый, — ответил дед.

— Ну, занимайся воспоминаниями.

Больше Сократiku здесь нечего было делать. Он блистательно провел операцию и теперь знал, что назаровский клад спрятан на втором этаже, в квартире, где живут необыкновенная Верочка, ее восторженный муж и их сын.

Сократик повернулся и пошел. И впервые за эти дни у него был твердый и упругий шаг, он чувствовал, что победа будет за ним. Он шел к матери, чтобы совершить на нее стремительную атаку, рассказать ей, что он все знает, перетянуть ее на свою сторону, разгромить деда в пух и прах, отыскать назаровские богатства и сделать с ними все, что полагается в таких случаях.

Они будут с матерью не первыми, кто по доброй воле отдает спрятанные старым миром клады, но все равно так приятно было Сократiku думать об этом. Вот все удивятся: и Курочка Ряба, и Иван, и сама распрекрасная Тошка, и все ребята, когда узнают, что он совершил.

Когда он шел уже своим двором, не сбавляя скорости и чувствуя радость от каждого сделанного шага и уверенность в благополучном конце, он встретил Нину Романовну с Казей.

Они остановились, поздоровались, и, хотя Сократик бешено торопился, показывая это своим видом, Нина Романовна была не прочь с ним поболтать. И тут в разговор влезла Казя, которая уже несколько раз открывала рот, пытаясь вставить словцо, но Нина Ромаковна всякий раз перебивала ее.

— Твоя мама стоит в подъезде с каким-то дядей, — единым духом выпалила Казя.

— Ах да, — небрежно сказала Нина Романовна.

Сократик замер, внутри у него что-то неприятно сжалось,

и он почувствовал, как краска стыда заливает его щеки и уши.

Нина Романовна заметила это и крепко-крепко сжала Казе руку, чтобы та не вздумала спрашивать Сократика, почему он покраснел.

— Ну, я пошел, — прошептал Сократик.

Он сделал шаг вперед, но сбился с ноги, потому что его хорошие помыслы пропали, его храброе вдохновение остыло, и оглянулся. Нина Романовна с Казей маячили ■ арке, и он вынужден был сделать еще три мучительных шага вперед ■ страхе, что вот-вот из-за угла дома появится мать под ручку с Геннадием Павловичем.

В это время открылись с лязгом двери кино, и горячая толпа хлынула во двор. Мужчины стали чиркать спичками, прикуривая, и над толпой повис белесый дымок, а Сократик, смешавшись с этой толпой, с ее дыханием и дымом, толкаясь о плечи незнакомых людей, видя близко их смеющиеся лица, потому что они только что побывали в каком-то незнакомом для них мире и стали чем-то добрее и восторженнее, вышел вместе с ними снова на улицу.

Он перешел на противоположную сторону Арбата и за-таился. Решил ждать, твердо решил дожждаться его, хотя это было тяжело и стыдно.

Он видел, как прошел маленький толстый мужчина в берете и коротеньком пальто, который тоже жил в их подъезде. Это был «всемирно известный» учитель танцев. Он был учителем танцев на телевидении, и поэтому его знали все. А теперь он торопливо шел домой и, значит, увидит мать.

Потом прошла девушка — она жила этажом выше Сократика — с пареньком. Ее часто провожал этот паренек, и они подолгу стояли в подъезде около лифта. А сейчас ее место, может быть, заняла мать с Геннадием Павловичем.

Ему хотелось, чтобы его мама была гордой и необыкновенной, и еще полчаса назад Сократик казался, что это почти так и есть. Вот только он должен был рассказать ей

все о кладе — она ведь не жадная и честная, — и они снова будут понимать друг друга без слов. А теперь Сократик в который раз вспомнил эту женщину, эту «певицу». Ну что ж, он все равно не позволит, чтобы другим было плохо даже из-за матери.

И вот тут-то Сократик увидел его, мирно шагающего по двору. Он видел его сквозь длинный тоннель арки, как в перископ подводной лодки, и уже отдал приказ носовой батарее: «Товсы!», ■ уже готов был крикнуть: «Залп!», то есть он был готов подойти к этому гражданину, хлопнуть его по плечу и выложить ему все, что думает об этой истории.

Он ему скажет ясно и просто: мол, вместо того чтобы ходить по чужим дворам, купили бы своему сыну или дочери игрушку и шли бы домой. Эти золотые, святые, наивные слова готовы были сорваться, слететь с губ Сократика и криком долететь через улицу к Геннадию Павловичу.

Сократик весь сжался, чтобы сделать этот первый решительный шаг, чтобы легко и беззаботно, именно беззаботно и легко, похлопать этого человека по плечу. Но ■ следующий момент ему нестерпимо захотелось убежать.

А когда-то, совсем недавно, Сократика ничего не стоило подойти к любому человеку и открыться ему до конца. Он жил, как чувствовал, и думал, что так живут все. Иногда над ним даже смеялись и называли лопухом и простофилей. Но за последнее время откровенность стала покидать его. Сначала это произошло после смерти отца: тогда он долгими ночами вспоминал отца и скрывал от матери, чтобы не беспокоить. Потом его скандалы с дедом. Раньше он свои обиды выкладывал матери и тут же забывал их горький вкус. А теперь, когда Сократик ссорился с дедом и тот его крепко обижал и обзывал блаженным, он помалкивал и страдал втихомолку. И поэтому, когда Геннадий Павлович появился рядом с Сократиком, он, вместо того чтобы смело хлопнуть его по плечу, низко опустив голову, прошел мимо.

Геннадий Павлович заметил его, дружелюбно улыбнулся и сказал:

— А-а-а! Здравствуй, любитель латыни.— Может быть, ему понравилась собственная острота, а может, он просто хотел скрыть свою робость перед этим мальчишкой, но он снова улыбнулся.

Сократик кивнул в ответ.

— Из школы? — спросил Геннадий Павлович.

Сократик снова едва заметно кивнул.

— Молчишь, не желаешь разговаривать? — спросил Геннадий Павлович.

Сократик ничего не ответил, повернулся и медленно стал уходить. Он чувствовал на себе взгляд Геннадия Павловича, но не оглянулся. Он сейчас думал не о нем, а о себе и поэтому не оглянулся.

Теперь рано темнело — октябрь. И небо было как полотенце из сурового полотна и сливалось с серым асфальтом, и казалось, что дворники скребли своими метлами прямо по небу, и бедный, несчастный Сократик в своем форменном сером костюме совсем растворился в этом скучном сером небе и сером асфальте.

Геннадий Павлович с тоской посмотрел вслед Сократу и подумал о Гале, о матери этого Сократика, с которой только что расстался и оставил ее веселой, а сейчас придет он, ее сын, и все испортит. Он уже собрался подойти, чтобы все ему высказать, и хотел крикнуть: «Подожди!», но испугался. Он, прошедший всю войну, испугался этого молчаливого, сосредоточенного, непонятно о чем думающего паренька.

Он пришел домой с большим опозданием, но Галя даже не спросила, где он пропадал. У нее было хорошее настроение, и как только хлопнула дверь, она выскочила встречать

сына. Сократик раздевался в темноте, но она зажгла свет, посмотрела на него веселыми глазами, пахнула духами и сказала:

— А, Гвоздик, пришел? А отчего мы такие серьезные? Какие грозовые тучи пронеслись над нами? — Иногда она любила делать из Сократика маленького, ну точно ему лет пять или шесть. — Нельзя надувать губы, — и провела пальцем по губам Сократика, как по струнам какой-нибудь гитары. — А то еще грузовик зацепится за них и разобьется.

— Есть охота, — мрачно сказал Сократик, стараясь не смотреть матери в глаза.

Галя убежала на кухню готовить для себя и для сына еду, а Сократик остался в комнате и думал о своем.

Он слагал в голове фразы, такие хитрые фразы, которые одновременно ничего не говорили, но в то же время на многое намекали. Он придумал два десятка ловких, жестоких фраз, пока мать готовила обед.

Сначала Сократик придумал такую фразу: «Что это ты сегодня очень веселая, не по погоде?» Потом такую: «Чем-то ужасным пахнет! Ах, это от тебя? А откуда у тебя духи?» А потом он придумал самую жестокую фразу: «Тебя кое-кто провожал сегодня, а у него дома жена и, может быть, пятеро ребят...»

Вот сколько хитрых ■ жестоких фраз было наготове у Сократика, и он, как судья, сидел и ждал мать, чтобы привести свой приговор в исполнение.

Они ели всего лишь тыквенную вчерашнюю кашу и поджаренную докторскую колбасу, но Гале и эта еда сегодня казалась невообразимо вкусной после прогулки по шумным улицам, и еще ей очень хотелось, чтобы и Сократик стало весело, и еще ей очень-очень хотелось рассказать сыну о человеке, который ее сегодня провожал домой. О том, какой он умный и добрый, и о том, что он похож на него, на Сократика: также любит кино и самое дешевое мороженое.

— Я сегодня видела...

Мать остановилась, и Сократик замер. Этот жестокий палач, только без красной мантии, готовый пригвоздить еще десять минут назад свою мать к позорному столбу, испугался и уткнулся в тарелку. А она залилась краской: щеки, уши, шея. Она покраснела не как женщина, мимоходом, а как девчонка-семиклассница, о тайнах которой узнали все в классе.

Галя стала натуженно кашлять, закрыв лицо руками, точно подавилась кашей. Наконец откашлялась и сказала:

— Представляешь, я сегодня утром видела космонавта Феоктистова. Тоже спешил на работу, вроде меня.

Сократик собрал посуду и понес на кухню мыть. Это была его обязанность, и он ею не тяготился. Если космонавт Феоктистов, как все прочие, торопится по утрам на работу, а знаменитый летчик-испытатель Кулаков сам готовит обед по выходным дням, то и Сократик может вымыть после обеда две тарелки и несколько ножей и вилок. В конце концов, как любит повторять Эфэф, от малого до великого один шаг.

Он мыл посуду и думал. Руки его скользили по тарелкам и делали их чистыми и шелковистыми, и думал, думал, думал, и тер, тер, тер одну тарелку, точно хотел протереть в ней дыру. И потом он подумал, что было бы хорошо, если бы все Садовое кольцо накрыл тоннель и все машины ходили бы по этому тоннелю, а сверху был бы гигантский парк, по которому можно было идти весь день. А каждую ночь в тоннель привозили бы пушки, и они стреляли бы сжатым воздухом и выбивали из тоннеля скопившиеся за день остатки бензина и машинного масла.

В кухню вошла Галя. Она взяла полотенце и стала вытирать посуду, которую Сократик уже вымыл. Она была чуть выше Сократика, и его плечо в работе все время терлось о поруку матери. Он даже чувствует тепло этой руки. Но по-прежнему молчит, хотя уже понимает, что хорошее настроение постепенно покидает мать. И она уже стала печальной, чтобы потом совсем раскиснуть, и понимает, что Сократик

не хочет слышать о ее радостях, потому что для него это совсем не радости, и она уже не откидывает резко назад волосы, и волосы упали ей на лицо ■ закрыли лоб и щеки.

Галя еще цепляется за разговор с сыном, стараясь наладить отношения. Ей обязательно надо поговорить с ним о Геннадии Павловиче, но пока она говорит первое, что приходит ей в голову, что не имеет никакого отношения ■ этому, к главному.

— Сегодня утром я разбиралась в письменном столе — решила освободить для тебя еще один ящик — и нашла свое старое письмо, которое я написала деду двадцать семь лет назад... И там написано: «Крепко поцелуй за меня кошку ■ прочитай мое письмо кукле. Твоя дочка Галя». А когда мы вернулись из деревни с мамой, оказалось, что кошки уже давно нет. Дед ее выпустил нарочно.

— Это похоже на него, — сказал Сократик, вспомнив, как каждый вечер дед кружится вокруг великой ценности века — телевизора.

— Над нашей дверью надо повесить объявление: «Здесь помещается филиал общества по охране животных».

Они оба, Сократик и Галя, резко повернулись и увидели деда.

Он стоял, облокотившись о дверь: какой-то угрюмо-веселый, со впалыми глазами, он был похож на одержимого. Так показалось подозрительному Сократику.

— Нужно быть добрым, — сказала Галя.

— Ерунда, — сказал дед. — Не тому ты учишь Юрия. И в результате ему в жизни придется так же тяжело, как тебе.

— Это нам тяжело в жизни? — искренне удивился Сократик. — Я не считаю, что тяжело.

— Ты не считаешь? А ты ее спроси, — сказал со злостью и тайной радостью дед. Он был рад этому разговору — это была его тема. Тут он был силен и мог в одну секунду расправиться с сопливым мальчишкой, который всегда все знает и суется не в свои дела. — Ты спроси ее, свою мать!..

Сократик посмотрел на мать, ему хотелось чтобы она поддержала его. Но она не подняла головы.

Ей сейчас было жалко себя, и слова деда упали на благодатную почву. Она подумала о Геннадии Павловиче, человеке, который мог бы быть настоящим другом Сократу, но, видно, пройдет еще много дней, прежде чем ее сын поймет, как он неправ, не желая ничего даже слышать о Геннадии Павловиче.

Галя стояла, облокотившись руками на подоконник, и с любопытством смотрела на хорошо знакомую ей женщину из соседнего подъезда, которая выкатывала коляску с ребенком. А ведь она даже не заметила, как эта женщина выросла. Галя только помнила, что совсем недавно, ну будто месяц назад, она была девчонкой и гоняла на велосипеде по двору.

— Думаешь, для нее великое удовольствие с утра до вечера работать: тарахтеть на машинке, готовить обед, стирать, убирать в квартире, ходить в магазин, и больше ничего. Думаешь, это для нее такое великое счастье? Ты, например, играешь в футбол для удовольствия, ходишь к товарищам для удовольствия, едешь летом в лагерь для удовольствия! А у нее ведь ничего этого нет. Ни любви, ни удовольствия, ни отдыха. Один долг перед тобой.

Старушки, сидевшие на скамейке во дворе, окружили коляску, чтобы рассмотреть ребенка, и Галя улыбнулась, потому что вспомнила, как вроде бы тоже совсем недавно она впервые выкатила своего Юрика во двор, и эти же самые старушки вот так же окружили ее. Она, продолжая улыбаться, повернулась лицом к Сократу, и он перехватил ее улыбку и сказал деду:

- А мама любит свою работу.
- Ерунда, — возразил дед. — Это ей так кажется.
- Нет, не кажется, — сказала Галя.
- Значит, ты хочешь мне доказать, что ты только и мечтаешь, чтобы постучать на машинке? — спросил дед и,

не дождавшись ответа, добавил: — И так без конца... Понимаешь, надежды-то у нее никакой нет...

Сократик догадался, что идет хитрый разговор: не для него, а для матери.

Дед хотел внушить ей, что она очень несчастная. А Эфэф ему столько раз говорил, что настоящее счастье, когда хорошо всем: тебе и всем! А дед делал мать несчастной нарочно, чтобы ей трудно было отказаться от назаровских богатств. Вот чего хотел дед!

— Я сам могу убирать квартиру, — сказал Сократик. — И в магазин могу ходить. А обед можно брать в столовой. У мамы тогда будет больше свободного времени...

— А на какие шиши, позвольте вас спросить? — ловко ввернул дед.

И Сократик, припертый к стене доводами деда, понял, что наступило время борьбы, что не будет больше отсрочки, что надо бороться за мать, за себя и даже за деда.

— Вот построим коммунизм, — сказал Сократик, — и тогда все будет по-другому...

— А, запел старую песню... Когда его построят... твой коммунизм? — И дед, упоенный победой, убежденный в своей правоте, с горящими глазами, уже не разбирая, что перед ним мальчишка, решил за компанию подцепить его покойного папашу, нанес Сократiku последний, самый решительный удар. — Твой отец тоже был агитатор, а между прочим, ни копейки, ни полкопейки не оставил вам на черный день.

— Замолчи, отец, — сказала Галя. — Это не твое дело.

Она видела, что Сократик побледнел, точно его вдруг неожиданно ударили по лицу, как он круто повернулся и вышел из кухни.

— Ну ладно, ладно, замолкаю. — Дед хотел обнять внука, когда тот проходил мимо него, но Сократик вырвался.

В передней Сократик увидел какой-то сверток. Он нагнулся и надорвал бумагу: в свертке была большая электрическая дрель. Ясно: дед начал подготовку всерьез.

Сильная, быстрая электрическая дрель, она, как хороший отбойный молоток, в одну секунду прошьет стену старого дома и доберется до назаровского богатства.

Он выскочил из дому, чтобы позвонить Ивану. Больше Сократик не мог выжидать и раздумывать и носить эту тайну в себе. Он позвонил ему и, когда к телефону подскочила Тошка, нисколько не испугался и позвал Ивана. А та, узнав Сократика, презрительно фыркнула и бросила трубку.

«Ничего, ничего, — подумал Сократик. — Завтра все зазвучит по-другому, на новой волне». А когда он услышал голос Ивана, то попросил его немедленно выйти. Наступил момент, когда он почувствовал себя равным Ивану. И поэтому он разговаривал с ним решительно и сурово, и уже через десять минут Иван стоял рядом с ним.

Сократик рассказал Ивану все: и про назаровские богатства, и про то, что дед купил электрическую дрель, чтобы взломать стену, и как бы он их не опередил.

А потом они вместе пошли к этому дому и в сумерках долго бродили вокруг, и на душе у Сократика, несмотря на волнения, было хорошо и радостно, потому что рядом с ним ходил сам Иван.

Иногда Иван опускал ему на плечо руку, и так они кружили вокруг дома и придумывали, как им все сделать лучше, и уже переживали восторг победы. Иван стал таким добрым и великодушным, что простил Сократика его глупое хвастовство и выдумки про Кулакова-старшего и обещал обязательно познакомить Сократика с отцом.

Но потом Иван решил, что им совершенно незачем соревноваться с дедом и ловить момент, когда последние жильцы покинут этот дом. Совершенно незачем, а просто они завтра вместе с ребятами придут сюда и объяснят все этой Верочке и ее мужу, и те, конечно, все им разрешат, это же государ-

ственное и справедливое дело. Они взломают стену, возьмут клад и отнесут его в банк. Так делают все. Иван однажды читал в газете про одного бульдозериста, который, разрушая старый дом, тоже в стене нашел клад и сдал в банк.

Им обоим так понравилось это простое и ясное решение, что они готовы были прямо сию секунду приступить к делу.

21

Когда на следующий день Сократик вошел в класс, все ребята, как один, поднялись ему навстречу. Он не ожидал, что Иван всем раскроет их тайну, и в первый момент растерялся. Но Иван улыбнулся и сказал:

— А, пускай все знают, дом-то они без нас не найдут. Дом знаем только мы с тобой.

Тошка в упор посмотрела на Сократика. Это тоже было что-то новое. Она впервые посмотрела на него за эти дни. Вообще это было настоящее торжество, какой-то праздник, которому не было конца. На Сократика даже приходили смотреть из других классов, то и дело открывалась дверь и просовывалась чья-нибудь любопытная голова.

А после уроков его догнал Борис Капустин и спросил:

— Это правда?

— Правда, — вместо Сократика ответил Иван. — Завтра в девять. Придешь?

— А как же, — ответил Капустин.

Во всей этой истории, в этом ее стремительном разбеге Сократика беспокоило только то, что он ничего еще не сказал матери и деду. Теперь, когда об этом знали все, когда это перестало быть его тайной, ему было мучительно того, что он не поговорил с ними и тем самым сразу записал их в свои противники. А может быть, если бы он поговорил с ними, они согласились бы, что он прав.

Это томило его весь вечер, мешало ночью спать, и он решил открыться им, прежде чем уйти утром к ребятам.

Мать сидела на кухне и печатала — она печатала быстро и ловко, — а на ушах у нее были надеты наушники от шума, который мешал ей работать. Дед пил чай и слушал радио.

Мать улыбнулась Сократу и спросила:

— Что тебе в воскресенье не спится?

— Надо, — ответил Сократик — от сильного волнения добавил почти шепотом: — Я иду за кладом.

Мать снова улыбнулась, и Сократик догадался, что она ничего не слышала сквозь свои наушники, а дед почему-то к его словам отнесся спокойно. Такая, значит, у него была выдержка.

— За кладом, за каким еще кладом? Романтик. — Дед глубокомысленно вздохнул. — Подрастешь, оценишь все по-новому: и людей и события. Сердце зачерствеет, чужая боль останется в стороне, а будет волновать только то, что рядом, что твое. Вот это будет волновать: свои дела, свои дети, своя квартира, может быть, своя работа.

Слова деда впивались в Сократика, как иглы: «сердце зачерствеет» — одна игла; «чужая боль останется в стороне» — вторая. Ну, а как же тогда все те люди, которые из-за других бросаются под поезда или в огонь? Как тогда врачи сами делают себе прививки, испытывая новые лекарства? Как же тогда они?

— Неправда, — сказал Сократик. — Не могут все люди быть плохими. Не могут.

— А разве это плохие люди, которые думают о себе? — сказал дед. — Ты, например, думаешь о матери и о себе. Мать думает о тебе и обо мне.

— А кто же тогда плохие люди? — спросил Сократик.

— Воры, бандиты, предатели, — сказал дед.

— И всё?

Дед встал и повернулся, чтобы уйти. У него была широкая, совсем не стариновская спина, и Сократу вдруг показалось, что дед стоит уже там, у стены с кладом, вертит своей дрелью.

Сократик был готов нанести главный удар, который остановил бы монотонный стук машинки, заставил вскочить маму, которая сидела, запечатав уши, а они с дедом были для нее, как актеры из немого кино.

— А доставать чужие деньги из стен старых домов и присваивать себе — это, что же, хорошо или плохо? — закричал Сократик.

Он так сильно крикнул, что мать услышала. Она перестала печатать, сняла наушники и повернулась к нему.

— Я все слышал, — сказал Сократик. — Ночью проснулся и все слышал.

— Что ты слышал? — спросила Галя.

— Все... И как дед рассказывал про Назарова, и про его клад, и про то, что вы хотите оставить его себе... — Он сжался и готов был ко всему: к отчаянному крику, к драке и к радости, если они признаются ему во всем.

— Про Назарова мы разговаривали, это правда, — сказала Галя. — А про клад... Первый раз слышу...

— Мечтатель, — сказал дед. — Что там тебе еще приснилось?

— Не притворяйтесь, не притворяйтесь, — закричал Сократик, — я все знаю!..

— Ты не заболел? — Галя подошла к сыну, таким возбужденным он никогда раньше не был.

— Я все слышал, понятно? Все!.. У вас ничего не получится!..

— Юра, даю тебе честное слово, — сказала она. — Клянусь тебе, что этого ничего нет... Успокойся... — Она села рядом с ним. — У тебя и раньше так иногда бывало, когда ты был поменьше. Тебе что-нибудь приснится ночью, а ты считаешь, что это было на самом деле. Ну-ка, садись к столу и выпей чаю.

Он вяло, нехотя выпил чай, еще до конца не сознавая, что произошло, и вернулся в комнату. Но когда он остался один, то вдруг разревелся, как девчонка. Потом стал тороп-

ливо, дрожащими руками перебирать вещи, потому что решил немедленно уехать. А что же ему еще оставалось?

Он услышал шаги матери и задвинул ящик своего стола.

— Ты далеко собрался? — спросила Галя и подозрительно оглядела сына.

— К ребятам, — соврал он, стараясь не смотреть ей в глаза.

— А ты никому не рассказал об этом... твоём кладе?

— Нет.

— Как ты мог о нас подумать такое? — спросила Галя, но увидела лицо Сократика и сказала: — Ну ладно, иди погуляй, потом об этом поговорим... Нам вообще о многом надо поговорить.

Сократик в последний раз оглядел комнату, посмотрел на фотографию отца, мельком перехватил беспокойный взгляд матери, быстро оделся и вышел на улицу.

У него теперь было только одно желание: исчезнуть куда-нибудь, пропасть, чтобы навсегда все забыли, что есть на свете Сократик.

На улице Сократик спохватился, что у него нет денег, а без денег куда уедешь?

Он уже готов был вернуться, броситься к матери и рассказать ей все и умолить ее сегодня же уехать из Москвы, сказать ей все и умолить ее сегодня же уехать из Москвы,сию же секунду уехать. Но все же он не пошел домой, потому что понимал, что мать и дед начнут его успокаивать и отговаривать и объяснять ему, что так делать нельзя. Что есть работа, и ее не бросишь, что есть квартира, и ее тоже не бросишь. Но сейчас Сократик не мог всего этого понять, для него сейчас было важно только одно: скрыться, пропасть, не видеть больше никогда ребят из своего класса.

И тогда он пришел к Федору Федоровичу. Ему долго не открывали, а потом наконец появился заспанный Федор Федорович, удивленно посмотрел на Сократика, пропустил без слов в комнату и сказал просто:

— Ну, выкладывай.

Ему было нелегко рассказать эту дурацкую историю про клад. И поэтому он начал рассказывать про все, про всю свою жизнь: про мать, и про деда, и про Геннадия Павловича, который мешал им жить. Про то, как он любил Ивана, и про урок истории, и про Тошку, и про то, как он мечтал помириться с Иваном, и тут ему приснился этот сон, и как Иван обрадовался, и как весь класс восхищался им, и как было приятно это...

— Куда же ты теперь? — спросил Федор Федорович.

— Поближе к полюсу, — ответил Сократик. — Если вы мне еще верите, одолжите денег. Я, как заработаю, сразу верну.

— Я тебе верю, — сказал Федор Федорович. — А другие что о тебе подумают?

Сократик промолчал, ему было теперь уже все равно, что о нем подумают. И Федор Федорович понял состояние Сократика.

— Значит, твердо решил уехать? — спросил Федор Федорович.

— Да, — ответил Сократик.

— А мать?

— Я ей не очень нужен.

— Ну что ж, беги... Дезертируй! — Он прямо кричал. — Не ожидал я, что ты трусишь...

И даже это Сократик выдержал.

— Если не хотите давать денег, то не надо, — сказал Сократик. Он встал, чтобы уйти.

— А это ты видел? — Федор Федорович повернулся к нему спиной и рывком сорвал с себя рубаху. И Сократик увидел исхлестанную шрамами спину Федора Федоровича. — Из лоскутков сшили. — Он надел рубаху. — Я ведь летчиком был. Для меня самое главное в жизни было небо и самолеты. А мне сказали, что я отлетался. Три года я провалялся в постели. Врачи думали, не встану, а я встал... Думаешь, мне было тогда легче, чем тебе сейчас? Ты пойми,

человека украшает не только сила и победа, но и признание собственного поражения. А вот бегство и трусость еще никого не спасали.— Он говорил ему жестокие слова, но как-то надо было пробиться сквозь эту стенку молчания.— Ты сейчас пойдешь к ребятам и все им объяснишь. Ну, иди, иди.

И Сократик ушел.

А Федор Федорович встал к окну, чтобы посмотреть ему вслед. Может быть, он зря его отпустил одного? Но он мечтал, чтобы его ученики выросли нетерпимыми, исступленно-нетерпимыми ко лжи и добрыми к человеку. И ему казалось, что из Юрия Палеолога получится именно такой человек. И поэтому сегодняшний путь он должен проделать один.

Нет, он не сбежит, этот Сократик. Иначе ведь не стоило бы столько страдать те три года, иначе не стоило бы приходить в эту школу...

Сократик шел, вобрав голову в плечи. Сверху, с десятого этажа, он казался совсем маленьким...

22

Во дворе назаровского дома собралась толпа ребят. Они суетились, разговаривали, толкали друг друга. И все люди, которые выходили из разных подъездов, непременно оглядывались на них, а многие подходили и спрашивали, зачем они здесь собрались. Но те, конечно, хранили тайну.

Когда Сократик увидел эту рокочущую толпу, он в испуге замер в воротах. Ему захотелось исчезнуть. Однако ребята заметили его и бросились навстречу. Он приготовился сразу же ошарашить их новостью и выхватил из общей толпы бегущих радостное лицо Ивана Кулакова, чтобы ему первому рассказать обо всем. Но ребята окружили его, начали доверительно хлопать по плечу, здороваться за руку, стараясь выказать ему этим наивысшее расположение. И Сократик никак не мог произнести свои страшные слова. Как, как он мог произнести их среди этого всеобщего восторга!

Потом Борис Капустин растолкал ребят, взял Сократика за руку и поставил к стене. И он теперь в полном одиночестве стоял на фоне белой стены — высокой-высокой. Это была боковая стена девятиэтажного дома, она была совсем белая-белая, и только маленьким черным пятнышком на ней торчал Сократик.

Капустин тем временем наводил на него фотоаппарат, чтобы сфотографировать для школьной стенгазеты. А ребята с восторгом смотрели на Сократика, и прохожие тоже оглядывались, стараясь понять, чем отличился этот парнишка, этот довольно жалкий, какой-то растерянный парнишка. Может быть, он чемпион города по плаванию или знаменитый школьный футболист, или, еще лучше, спас кому-нибудь жизнь?

Сократик стоял между тем перед глазком фотообъектива, как перед дулом винтовки, которая вот-вот должна была брызнуть в него снопом справедливого огня. И ему казалось, что он сейчас упадет. Он несколько раз пытался открыть рот, чтобы крикнуть всю правду, но каждый раз предостерегающий знак Бориса Капустина останавливал его.

Наконец Капустин опустил аппарат, но тут рядом с Сократиком вырос Иван. И Капустин снова приставил аппарат к глазу, чтобы сфотографировать их вдвоем.

А потом Сократика окружило все пятое звено, и девчонки, прежде чем сфотографироваться, по очереди посмотрелись в маленькое зеркальце, которое вытащила из кармана Тошка.

Затем на Сократика набросились все остальные, они разместились у его ног, сбоку, влезли друг на друга и появились над его головой. А в самом центре, как выдающаяся личность, стоял вконец растерзанный, несчастный Сократик.

— Всё, — сказал Борис. — А то на потом не хватит пленки.

После этого Сократик в плотном кольце ребят направился к злополучному дому. Около подъезда он остановился и

сказал, что сразу всем нельзя, что пусть с ним пойдут вначале Борис и Иван. И они трое скрылись в подъезде.

Единственно, что Сократу хотелось сейчас сделать, — это побыстрее выложить всю правду, и гора с плеч.

— Ну вот, — тяжело сказал Сократик и посмотрел куда-то в сторону, мимо носов своих спутников.

— Что «ну вот»? — спросил Иван.

— Ребята, нельзя ли побыстрее, — сказал Борис. — Я спешу.

— А то... — сказал Сократик. — Никакогоклада нет. Мне все приснилось.

— Ты шутишь, — сказал Иван. — Пошли. Хватит тянуть время.

— Я правду говорю. — Сократик сказал это так решительно и твердо и стал к Ивану лицом, точно хотел, чтобы тот его ударил.

— Значит, ты просто решил над нами посмеяться? — угрожающе спросил Иван.

— Я же тебе говорю, мне это приснилось, — снова сказал Сократик.

— А почему ты только сегодня об этом догадался? — спросил Борис.

— Утром я решил вывести деда на чистую воду... И все выяснилось. Я хотел с ним раньше поговорить, но Иван отговаривал меня.

— Ах вот как! — закричал Иван. Он был просто как бешеный. — Я же еще и виноват! — Он сильно и неожиданно дернул за козырек фуражки Сократика и натянул ее ему до самого подбородка.

— А ну, поосторожней! — крикнул Борис.

А Сократик даже не стал снимать фуражку, так и стоял в полной темноте, судорожно хлюпая носом, чтобы не заплакать. Он услышал, как Иван сильно хлопнул дверью, и только тогда надел нормально фуражку.



— Может быть, ты хочешь остаться один? — спросил Борис и, не дождавсь ответа, вышел.

Потом до Сократика донеслись возмущенные голоса ребят, кто-то там отчаянно завизжал, кто-то свистнул в пальцы. А кто-то захохотал, и это был, конечно, «остряк» Рябов. Постепенно крики стали удаляться. Сократик вошел в комнату и выглянул осторожно в окно — во дворе уже никого не было.

Сократик сел на старый, брошенный здесь стул и долго сидел. Он слышал, как за стеной закашлял Михаил Николаевич, ■ ему показалось странным, что кашель его слышен так отчетливо, как будто они сидят в одной комнате. Он задрал голову и увидел в стене небольшую круглую дыру, которая, видно, осталась от электрической проводки или от телефонного кабеля. Потом он услышал, что кто-то позвонил в дверь Михаила Николаевича и тот открыл ее, и раздался голос мужа Верочки. Они там поздоровались, и Михаил

Николаевич спросил, как себя чувствует Верочка и когда ее привезут из больницы. А потом он начал вздыхать и охать, что нужно вести себя во время опытов осторожнее. И Сократик догадался, что с этой незнакомой Верочкой случилось несчастье.

— А куда это вы собрались с чемоданом? — спросил Михаил Николаевич.

Сократик не расслышал ответа.

— Как, уходите? — громко спросил Михаил Николаевич.

— Совсем уйду, Михаил Николаевич. Не могу я. Она редкий человек, талантливый, — говорил муж Верочки. — Очень талантливый. Подвижница... Но мне трудно с ней, трудно. Я не создан для подвигов. Я не могу смотреть на людские страдания. Не могу. И вот уйду. Вот письмо, передайте ей. Не могу, Михаил Николаевич, не могу. У меня даже руки дрожат. Противно так дрожат, и на душе мерзко, я себя презираю. Но если бы вы видели ее лицо, обожженное, она... она, возможно, останется слепой. Я трус, трус, но если с одним человеком случилось несчастье, неужели и другой должен погубить свою жизнь? Из-за него мучиться и страдать? Разве это справедливо?

Больше Сократик ничего не слышал, точно там пропали люди, — и этот, и Михаил Николаевич. Потом раздались чьи-то торопливые шаги в коридоре. Сократик подбежал к окну и увидел мужчину, который почти бежал по двору. Чемодан у него был большой и тяжелый, и он нес его на плече.

«Значит, Верочка, — подумал Сократик, — во время опыта обожгла себе лицо и, может быть, ослепнет, а ее влюбленный муж решил от нее уйти только потому, что хочет жить весело и легко». И вдруг его так сильно захлестнуло чужое несчастье, что он даже забыл о собственных неудачах.

Дверь в квартиру Михаила Николаевича была открыта настежь.

Сократик вошел в нее и увидел человека, сидящего

■ кресле, старого, толстого, седого. Сократик вежливо кашлянул, чтобы привлечь его внимание, и тот поднял голову.

— У вас открыта дверь,— сказал Сократик.

— Спасибо,— ответил Михаил Николаевич.— Сейчас закрою.

— Я был в соседней квартире и все слышал,— сказал Сократик.— Если надо, я могу дать свою кожу для пересадки. (Михаил Николаевич посмотрел на него.) И не только я,— добавил Сократик,— весь наш класс согласится.

— А ты кто такой? Ты что, знаешь Верочку Полякову?

— Нет,— сказал Сократик.— Просто я случайно оказался в вашем доме.

— Значит, если я тебя правильно понял, ты хочешь помочь человеку, которого ты никогда в жизни не видел? — Михаил Николаевич пристально посмотрел на этого небольшого, толстогубого, лохматого паренька, и у него неожиданно запело внутри и бешено заиграла труба — сигнал боевой тревоги.

Сократик промолчал.

— Не вернулся,— сказал Михаил Николаевич.— Я так и знал, что он не вернется. Такие люди не возвращаются, когда другим плохо. И у него хватает духа оправдывать себя. А я-то, старый дурак, верил ему. Нравились мне его мягкость, обходительность. Он боится страданий. А разве можно уйти от страданий? Человек со дня рождения обречен на потерю близких, на крушение надежд... Моя матушка, вечная ей память, очень любила меня. ■ я, сколько себя помню, всегда боялся, что с ней что-нибудь случится, и ненавижу, когда она говорила мне: «Вот умру, тогда все будешь делать по-своему». Как мы можем уйти от страданий за близких и за далеких людей, которые живут в разных уголках земли? Нет, от этого нельзя уйти. Собственно, эти страдания и делают нас людьми. Негодай, негодай, негодай... Я теперь буду говорить по тысяче раз «негодай», чтобы убить его в себе.

Он начал одеваться, накинул пиджак, почему-то надел галоши, потом стал торопливо принимать лекарство.

— Этот негодяй думает, что времена Сусаниных миновали. Негодяй...

Они вышли во двор, и Сократу захотелось подтолкнуть Михаила Николаевича, чтобы он быстрее добрался до врача Верочки Поляковой и посоветовался с ним, как быть дальше, а тот тянулся как черепаха. А Михаилу Николаевичу казалось, что он просто летит. Он задыхался от этой быстрой, непривычной ходьбы, и сердце у него стучало где-то под самым горлом, но все равно спешил, хотя отлично знал, что никакие врачи сейчас не помогут Верочке и он идет к ним для очистки совести и ради этого неизвестного ему паренька, который так верит в людей.

Вот поэтому он шел так быстро, так невероятно быстро, как, может быть, не ходил ни разу после войны, после того как пошел в ополчение и немецкая пуля пробила ему легкое.

Из-за себя он бы ни за что так не стал торопиться, из-за себя развивать такую гонку. Нет, это он бы не смог.

И ему самому кажется сейчас удивительным и неправдоподобным, что он когда-то мальчишкой был способен сбежать из дому и стать трубачом в Первой Конной. А теперь это все забыли и, в первую очередь, он сам, но где-то все же в нем живет дух трубача-горниста, который вдруг пропевает в нем в самое неожиданное время сигнал тревоги. Он затрубил в нем в начале войны, и сейчас он снова трубит. Ну, старые больные ноги, ну-ну, старая, стертая машина, поработай, погоняй кровь ради людей! Как жалко, что он в спешке забыл дома лекарство. Это уже легкомысленно. Знай, есть еще порох в пороховницах, если он поступает легкомысленно. Ура, ура, ура! Негодяй, негодяй, негодяй...

Он шел навстречу ветру, шел, загребая старыми ногами, обутыми в старые галоши, размахивая старым портфелем, набитым старыми бумагами, которые он всегда неизвестно зачем таскает за собой.

После того как я «прославился» с этим проклятым кладом, я стал известным человеком в школе. Меня даже на педсовете разбирали, правда заочно. О чем там говорили, не знаю, но по школе пополз слухок, что Юрку Палеолога отправляют к врачу-психиатру. Может быть, я сумасшедший. Ох и остряки!

Вся наша школа бегала на меня смотреть, настоящее паломничество. А первоклассники, те на всякий случай обегали меня стороной. И ■ стенгазете разрисовали, с зеленым платком на шее и с серьгой в ухе. В общем, понятно, на что намекали. Но я не обижаюсь, я не против, смех — дело серьезное.

А ■ остальном моя жизнь потихоньку стала налаживаться — Эфэф оказался прав. Правда, с Кулаковыми я не помирился и дома у нас было не очень-то хорошо.

Как-то я набрался храбрости и рассказал матери о том, что к нам приходила жена Геннадия Павловича. Думал, она упадет от моих слов в обморок или разревется. Раньше, если ее кто-нибудь обманывал, она закрывалась в ванне и редела, как девчонка. И поэтому я заранее приготовил стакан воды, чтобы в нужный момент подать ей.

Но эту воду мне пришлось выпить самому, потому что в ответ на мои слова она такое преподнесла, что этот стакан воды просто выручил меня... Оказывается, Геннадий Павлович не женат, а женщина, та «певица» из хора Пятницкого, его родная сестра, которая приходила, чтобы познакомиться с нами. И еще мать сказала, что она не думала, что я такой эгоист. А я сидел, помалкивал и пил воду. Тут она возмутилась.

— Оставь, — говорит, — стакан, он уже пустой.

Она хотела, чтобы я заговорил, но я налил еще стакан воды и снова начал пить.

— Ах так! — решительно сказала она. — Ну, посиди один, тебе есть ■ чем подумать, — и гордо удалилась.

По-моему, ее просто подменили.

В общем, ничего себе получилась беседа, только с тех пор мы не разговариваем. Раньше она никогда бы не стала молчать, давно бы простила меня. Точно ее просто подменили.

Я по-прежнему, как вхожу в класс, поворачиваю глаза влево, влево, на парту Кулаковых. Но сегодня парта оказалась пуста. Сел на свое место и стал ждать звонка. Не то чтобы эти Кулаковы меня интересовали, а так, больше по привычке, хотя если говорить совсем честно, то я скучал без Ивана. И Тошку часто вспоминал, нашу единственную прогулку. Только иногда казалось, что и эта прогулка мне приснилась, вроде клада. Зато теперь у меня дома была ее фотография, правда не такая прекрасная, как у Рябова. Она была маленькая, одна голова.

Фотография эта попала ко мне случайно. Капустин нас всех фотографировал во дворе назаровского дома; ну, а фотография эта никому теперь не была нужна. Вот он мне и отдал: «Бери, говорит, на память, посмотришь через десяток лет, посмеешься». Я и взял. Потом вырезал Тошку, она лучше всех там получилась. А Капустину спасибо сказал и посочувствовал, что ему со мной, как воспитателю, трудно.

Он со мной повозился! Во втором классе я еще не умел переходить улицу, путал, когда налево смотреть, а когда направо. Так он меня почти каждый день до дому провожал. А в пятом классе я стал заикаться, и он со мной песни пел...

В класс вбежала Зинка-телепатка. Подошла, стукнула меня портфелем по спине и сказала: «Приветик». Она вообще, я заметил, при каждом удобном и неудобном случае старается меня стукнуть портфелем, чтобы я помнил о ней. Но я ей все прощаю, потому что она никакая не телепатка. Она все кричала и кричала, что знает, о чем я думаю, а я

боялся, что она действительно отгадает мои тайные мысли. Но все было значительно проще. В эти дни, когда я страдал из-за истории с кладом, она, чтобы поддержать меня, все рассказала. Оказывается, я думаю о ней. Вот тебе и вся телепатия. Я промолчал. Раз она так думает, пусть так и будет.

Потом ввалился красный, вспотевший Рябов и молча сел рядом со мной. После его предательства я хотел пересесть за другую парту, но Эфэф попросил меня этого не делать. Я ему уступил, хотя мы по-прежнему не разговаривали. Вернее, я с ним не разговариваю, а он-то пытался уже несколько раз наладить отношения.

Он поднял глаза, но они смотрели куда-то мимо меня. Я оглянулся.

В класс медленноплыла Тошка. Она была в ярко-голубой кофточке. Ох, до чего она была красивая, просто страшно, не то что в форме! Я такой красивой еще ни разу не встречал. Пока она плыла к своему месту, все ребята молчали, точно их поразило какое-то непонятное видение. Страшная сила — красота.

Девчонки тут же подскочили к ней и стали рассматривать кофточку. Из их толпы только и слышались вздохи и охи.

Но вот девчонки рассеялись, и Тошка прошла к своей парте, а я забыл о всякой осторожности ■ смотрел на нее во все глаза.

— Все тайное становится явным. Так, кажется? — сказала Зинка. Она перехватила мой взгляд. — Смотри, свернешь шею. — И закричала: — Ребята, я вчера видела... — Она замолчала и обвела всех взглядом. У нее был такой вид, точно она собиралась всех поразить. — Я вчера видела... — Она выразительно посмотрела в мою сторону, и у меня все похолодело внутри. — А я вчера видела...

Дело в том, что я вчера весь вечер проторчал около дома Кулаковых. Погода была хорошая, я решил погулять, не все

ли равно, где гулять. А эта Зинка, хоть и разжалованная телепатка, но глазастая, она даже в темноте видит. Может быть, она меня и засекла.

На всякий случай я встал, опустил руки в карманы брюк — так чувствуешь себя как-то увереннее, потому что есть в запасе спасительное движение. Если вдруг ее слова сразят меня, можно выхватить руки из карманов и сказать: «Ах, ах, ах!» — и помахать руками, понимай как знаешь.

— Ну, кого же ты видела? — спросил я и, совсем как Тошка, начал выстукивать ногой: мол, нам ничего не страшно.

— Я вчера видела... — снова закричала Зинка.

— Ну и орешь, перепонки лопнут, — сказал я. — Говори быстрее, кого видела?

— ...нашего уважаемого вожатого, — сказала Зинка.

Я даже обалдел от радости.

— Ну и что? — спросил я. — У него стал короче нос?

— Он был с девушкой. Вот, — сказала Зинка. — Иду. Смотрю, впереди Капустин. Я уже хотела его окликнуть, потом смотрю, что за чудеса: он ведет под ручку девушку. — Зинка показала, как Капустин вел девушку.

— Капустин?! — засмеялся Рябов. — Ребята, представляете, Капустин!.. — Он вскочил и стал прохаживаться по классу, изображая Капустина: ссутулился и стал загребать ногами.

Все ребята засмеялись, и я тоже засмеялся. Смешно Рябов показывал Капустина.

— Ничего смешного, — сказала Тошка и посмотрела на меня.

Честное слово, она посмотрела на меня впервые с тех пор, как я рассказывал небылицы про ее отца.

— Конечно, ничего смешного, — выскочил я.

Иван начал хохотать, прямо давился от смеха, и «остряк» Рябов натуженно хохотал, и другие представители сильного пола тоже начали дрыгать ногами.

— Девочки, эти мальчишки ничего не понимают, — сказала Зинка. — Значит, когда я их увидела, перебежала на противоположную сторону, обогнала, стою жду... Девочки... — Зинка закатила глаза. — Девочки... Она необыкновенная. Туфли — во! Двенадцать сантиметров. Разумеется, шпильки. Чулки черные. Представляете, девочки? Черные-пречерные. А юбка красная, и в складку, в складку...

— Ну и умора, — сказал Иван. — Попугай. «Юбка красная, чулки черные»! — передразнил Иван Зинку.

— Не вижу никакой уморы, — ответила Зинка. — Девочки, а он смотрит на нее, смотрит, совсем близко от меня прошел и не заметил. По-моему, он просто влюбился...

— «Влюбился»! — сказал Иван. — Чтобы Капустин влюбился, никогда не поверю.

— Просто смешно, — подхватил его подпевала Рябов. — В наше время можно придумать что-нибудь поинтереснее.

— Ах вот как!.. — Глаза у Зинки стали узкие-узкие. — В наше время можно придумать что-нибудь поинтереснее... — Она подошла к Ивану. — А мне, например, одна девочка говорила, что снится тебе по ночам. Отчего это?

Кто-то хихикнул, а потом в классе стало тихо-тихо. Все уставились на Ивана.

— Это мне кто-то снится по ночам? — переспросил Иван. Он встал и медленно, нехотя подошел к Зинке.

Я-то все эти приемчики знаю. Сейчас он спрячет руки в карманы. Ох эти спасительные карманы! И тут же Иван спрятал руки в карманы. Он как-то согнулся и стал ниже ростом.

— Значит, тебе рассказали, что мне кто-то снится по ночам? — сказал Иван.

— Тебе, — ответила Зинка.

— Ах, мне! — почти крикнул Иван.

И тут дверь открылась, и на пороге класса появилась Ленка. Она стояла и размахивала своей сумкой на ремне. А все смотрели на нее.

— Чего это вы все уставились на меня? — спросила она.

— Иван! — крикнул я. Испугался за Ленку и забыл, что я с ним не разговариваю.

Но было уже поздно. Иван подошел к Ленке и громко-громко, на весь класс, так, что было слышно в каждом уголке, сказал:

— Интересно, интересно, — Иван оглянулся и растянул губы в улыбочку, — кто это снится мне по ночам, уж не ты ли?

Вот это была тишина. Вот это была сценка.

— Не понимаю, — сказала Ленка. — Что с тобой?

— Она не понимает, — заорал Иван, — она не понимает! — Он орал и размахивал руками.

А мне стало противно на него смотреть, подчистую Ленку предал. Я подошел к нему и сказал:

— Эй, братец-кролик, у нас такое не полагается. Понял?

— А тебе какое дело? — Он стал наступать на меня, он хотел за счет меня выскочить из скандала.

Пускай. Это все же лучше, чем то, что он налетает на Ленку.

— А тебе какое дело? Благородный Дон-Жуан...

Он думал, что все захихикают на эти его остроумные слова, но никто его не поддержал. Даже Рябов.

А Ленка повернулась и выскочила из класса.

Весь день я звонил Ленке, хотел позвать ее к Эфэф. Я уже придумал, что расскажу ей, какой Эфэф мировой человек в домашней обстановке, но она упорно не подходила к телефону. Какая-то женщина отвечала, что ее нет дома. Тогда я позвал ее голосом девчонки, а то она, может быть, думает, что ей Иван звонит, и поэтому не подходит. Но она и на голос девчонки не подошла: не желала ни с кем разговаривать.

Кто-то позвонил в дверь. Звонок был необычный, чужой. Я открыл и обалдел. Передо мной в расстегнутом пальто, из-под которого виднелась голубая кофточка, стояла Тошка. Я так испугался, что просто захлопнул дверь, захлопнул и стою как дурак. Но она позвонила еще раз. К этому времени я немного опомнился ■ открыл дверь.

— Ты не думай, что я с ним заодно,— сказала она.

— А я не думаю,— промямлил я и для чего-то стал болтать дверью, точно снова ее хотел захлопнуть.

— Нет, думаешь. Я вижу по твоим глазам,— сказала она.

— Честное слово, не думаю,— ответил я и так сильно болтнул дверь, что она снова захлопнулась.

От страха, что Тошка убежит, я никак не мог открыть замок. Просто разучился. Наконец я открыл дверь. Тошка стояла в стороне, облокотившись на перила.

— Не думаешь,— сказала она,— а сам закрываешь двери.

— Это... это... случайно. Они сами...

— Автоматические, что ли? Конечно, ты думаешь, что я с ним заодно.

Я промолчал.

— Ага, ты сознался,— закричала она,— но я тебе докажу! Я тебе докажу! Одевайся.

Я послушно оделся, и мы побежали. Мы бежали молча, как марафонцы, до самого их дома, проскочили мимо лифтерши, и Тошка открыла своими ключами двери в квартиру.

Потом мы, как были, в пальто, вошли в комнату Ивана. Он сидел за своим письменным столом под фотографиями своего знаменитого отца и что-то там читал. Видно, учил уроки, чтобы получить завтра очередные пятерки. А я думал, что он сейчас где-нибудь вьется около Ленкиного дома. Он повернулся к нам и стал ждать, что будет дальше.

— Так ты считаешь, что поступил правильно? — крикнула Тошка.

Мне стало ясно, что она продолжает прерванный разговор.

— Привела свидетеля? — сказал Иван. — А мне вот не хочется больше с вами разговаривать. — Он повернулся к нам спиной и взял книгу, чтобы продолжить чтение.

И тогда Тошка подскочила к столу, над которыми висели фотографии ее отца, схватила одну из них и со всего маха бросила на пол.

— Ты что? — заорал Иван. — Ты что?!

Тошка схватила еще одну фотографию и хотела ее треснуть об пол, но дверь в комнату неожиданно открылась, и вошел сам знаменитый летчик. А его портрет, разбитый вдребезги, валялся на полу.

Сначала я не понял, что это он. В этом человеке я узнал шофера, которого мы вместе с Эфэф встретили на улице. Он еще тогда говорил ему: «Милый мой...» Так вот, оказывается, вместе с кем Эфэф испытывал свои самолеты!

— Он эти фотографии не ради тебя вывешивает, — крикнула Тошка, — а ради себя, он все делает ради себя!..

Кулаков-старший молча посмотрел на меня, и я так же молча вышел из комнаты.

Тошка позвонила мне через час...

Был дождь, и мы ездили на метро. От станции к станции. Ездили, ездили и почти не разговаривали, а потом я рассказал Тошке, чтобы как-то ее отвлечь, про Михаила Николаевича и Верочку Полякову.

— Пойдем к ним, — сказала она. — Может быть, Полякову уже привезли из больницы. Пойдем и спросим: «Вам нужна наша помощь?» А вдруг они скажут, что нужна.

Мы вышли из метро и пошли к этому несчастному дому, хлюпали по лужам, не разбирая дороги, но когда пришли, то оказалось, что дом пуст. Мы побродили по комнатам,

заброшенным и неуютным, с оборванными проводами, и у Тошки настроение совсем испортилось. По-моему, она все время думала об Иване.

— Мой дед расстроится, — сказал я, — когда узнает, что этот дом сносят.

— Жалко, что мы теперь никогда не увидим ни твоего Михаила Николаевича, — сказала Тошка, — ни этой Верочки Поляковой.

— Жалко, — ответил я.

Когда мы вышли во двор, Тошка решила позвонить домой. Она вошла в автомат, а я прогуливался рядом.

В глубине двора гуляла Надя со своим Китом. Я пома- хал ей рукой: салют, мол, салют собаководам.

— Кит, за мной, — приказала Надя и направилась в мою сторону.

Она подошла ко мне и остановилась.

— Как живешь? — спросил я.

— Ничего, — ответила Надя. — Живу понемногу.

— Дрессируешь Кита?

Кит услышал свое имя и задрал голову. У него были ма- ленькие черные глаза под лохматыми бровями.

— Не особенно, он плохо поддается воспитанию. — По- моему, она о чем-то хотела меня спросить, но не реша- лась. — А вы кого-нибудь ждете?

— Жду одного товарища, — и покосился на автоматную будку.

Тошка стояла ко мне спиной.

— А вы любите собак? — спросила Надя.

— Люблю, — ответил я.

— А в нашей квартире живет один гражданин, который заявил, что не позволит моему Киту жить у нас, — сказала Надя. — Хотя Кит тихий-тихий. А он, этот гражданин, гово- рит, что не выносит собак, потому что они все рано или поздно начинают кусаться. Вот поэтому Кит ходит дома ■ наморднике.

— Странный гражданин, — сказал я.

— Странный, — охотно согласилась Надя.

— А теперь он заявил, что из-за Кита у нас в квартире пахнет псиной, что у нас не квартира, а псарня, — сказала Надя. — И требует, чтобы я вообще не держала Кита дома. А вы понюхайте, понюхайте. — Надя подняла Кита на руки, чтобы я понюхал и убедился, что ее собака не пахнет псиной. У Кита была мягкая, нежная шерсть. — Ну что, пахнет, вы честно скажите, пахнет?

— Нет, — сказал я. — Совсем не пахнет.

— Вот вы понимаете, — сказала Надя, — а он не понимает. — И вдруг попросила: — Зайдите к нам поговорить с этим гражданином.

В это время Кит увидел кошку и обнаружил дикую сноровку и скорость. Он бешеным клубком полетел за кошкой, а следом за ним, тоже на высшей скорости, полетела его хозяйка.

Тошка вышла из автомата. Она шла, откинув голову, и чему-то улыбалась, — значит, настроение у нее изменилось к лучшему. Она потряхивала своими рыжими волосами и сверкала своей голубой кофточкой.

— А у меня в голове новая песенка: трам-та-там-трам-та-там, — пропела Тошка.

И у меня неизвестно отчего тоже заплясало все внутри от радости, и мне вслед за Тошкой, за ее песенкой захотелось запеть во весь голос.

— Пошли, — сказала Тошка.

Но в это время из ворот, запыхавшись, с Китом на руках, выбежала Надя.

— Мальчик, мальчик! — позвала она меня.

Пришлось остановиться.

— Мальчик, вы уже уходите? — спросила она, посмотрела на Тошку и добавила: — Это и есть ваш товарищ?

— Да, — сказал я.

Надя внимательно оглядела Тошку и сказала:

— Хороший товарищ. Мальчик, а вы не зайдете к нам поговорить с этим гражданином?

— Понимаешь,— сказал я Тошке,— у них в квартире живет гражданин, который требует, чтобы Надя выгнала Кита на улицу. Говорит, что от него пахнет псиной.

— Вы понюхайте, понюхайте,— сказала Надя и подсунула Тошке Кита.— Ну пахнет, вы мне честно скажите, пахнет?

— Совсем не пахнет,— сказала Тошка.

— Вот именно,— сказала Надя.— А вы не зайдете к нам вдвоем? В конце концов, вы же пионеры.

— Веди,— сказала Тошка.— Мы пойдем сейчас.

— Сейчас? — переспросила Надя.

— Сейчас,— решительно ответила Тошка.

Впереди шли Тошка и Надя с Китом на руках, я замыкал шествие.

— Вы подумайте, он заставляет, этот гражданин, вывести Кита в коридор в наморднике.— Надя на ходу сообщала все новые и новые сведения об этом плом гражданине.— Говорит, что мы сделали из квартиры псарню.

Тошка все набирала скорость, ей просто не терпелось вступить в справедливую борьбу. Честное слово, она была как барабанщица, она била дробь на своем барабане и звала меня в атаку. Она просто желала все время яростно бороться.

Около подъезда Надя остановилась:

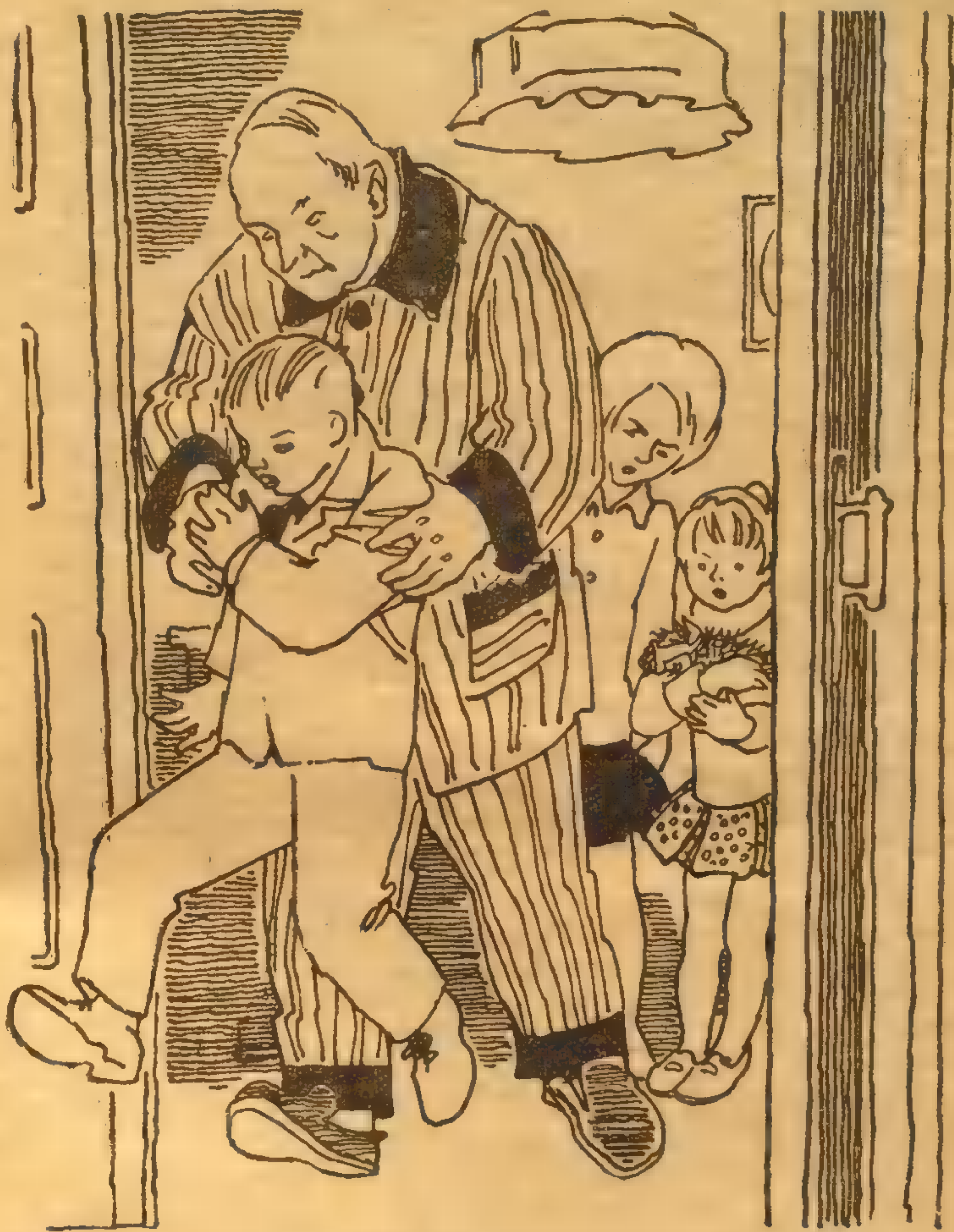
— Лучше я постою здесь и подожду вас.

— Нет,— сказала Тошка.

Решительная, отчаянная Тошка, она любила все доводить до конца.

— Конечно, нет,— сказал я. Хотя я-то совсем не был таким решительным.

— А может быть, вы придете вечером, когда будут дома мои родители? — спросила Надя.



— Мы пойдем сейчас же и выведем его на чистую воду,— сказала Тошка.

— Как зовут этого жестокого гражданина? — спросил я с улыбкой.

— Семен Николаевич Грибоедов,— ответила Надя.

— Почти великий русский писатель,— сказал я.

Мы взобрались на шестой этаж. Лифт не работал, и это сильно охладило наш пыл. Каждый из нас в отдельности, может быть, готов был спасовать, а вместе — ни за что!

— Надо же,— тихо сказала Надя.— Возненавидеть собаку из породы скочтерьеров.

Надя открыла своим ключом ■ подвела нас к двери Грибоедова. У нее мелко-мелко тряслись руки. Совсем перепугалась девчонка.

— Перестань дрожать,— сказала Тошка. Она храбро постучала в дверь.

Дверь тут же распахнулась, и перед нами появился здоровенный мужчина, одетый в пижаму. Он что-то ел, смотрел на нас и нахально чавкал.

— Ну, в чем дело?

— Мы хотим узнать, почему вы возражаете против этой собаки? — спросила Тошка.— Псиной от нее не пахнет, можете понюхать.

— Нюхать я не буду,— сказал Грибоедов.— А вы-то кто такие, что эту кильку защищаете?

— Не килька,— сказала Надя.— А Кит.

— Мы пионеры,— сказал я.— Из соседней школы.

— Ну и ходите в свою школу, а в чужие дела нос не суйте.— Он спокойно закрыл дверь, прямо перед нашими воинственными носами.

Тошка рванула дверь на себя.

— Мы представители общественности! — крикнула она.— Вы должны...

— Я никому ничего не должен.— Он уже сидел за столом, и перед ним на тарелке лежал здоровенный кусок кол-

басы. Он отрезал от куска небольшие кусочки и отправлял в рот.

— Вы кого учите жить? Меня, Грибоедова? — Он сказал это так, точно он и есть тот самый великий русский писатель, который написал «Горе от ума».

— В конце концов, собака — друг человека, — сказал я.

— Ваш, но не мой, — ответил Грибоедов. — Я ненавижу собак.

Да, препротивный мужичок, и как-то унизительно перед ним стоять. С таким сразу надо просто драться, а слов они не понимают, это точно. Ну как его прошибить?

— Это породистая собака из породы скочтерьеров, — сказала Надя.

— Закройте дверь, пионеры, — сказал он, — и катитесь ко всем чертям!

— Наконец, это просто возмутительно, — сказала Тошка. — Почему вы с нами так разговариваете?

Грибоедов встал, вытянул вперед свои ручищи — просто не руки у него, а грабли — и стал нас подталкивать:

— А ну, пошли отсюда, пошли, поиграли немного в свою игру и валяйте отсюда.

— Не трогайте меня руками! — крикнула Тошка.

— Ах ты недотрога! — закричал Грибоедов. — А по мягкому месту не хочешь схлопотать? — Он поднял руку.

— Тогда вы будете иметь дело со мной, — сказал я.

Меня просто трясло всего от возмущения, я готов был броситься на него, я готов был подраться с ним. Лез на него, напирал грудью. Мне хотелось, чтобы он меня ударил, а тогда мы посмотрим, кто кого.

И тут он меня схватил, крепко сжал своим ручищами, приподнял и понес. Донес до дверей, открыл дверь и вытолкнул на лестничную площадку. Следом за мной вылетели Тошка и Надя со своим скочтерьером на руках.

Мы медленно стали спускаться вниз. Кит несколько раз жалобно тявкнул.

— Вы меня простите,— сказала Надя.

— Что там,— махнул я рукой.

Я боялся посмотреть Тошке в глаза. Может быть, теперь, после такого унижения, она начнет меня снова презирать...

— Мы этого так не оставим,— сказала Тошка.— Найдутся люди, которых ему не удастся так легко поднять.

— Лучше бы у меня была овчарка или волкодав,— сказала Надя.— Тогда он бы боялся.

Мы вышли на улицу. Грустно постояли в кружочке: между нами, задржав голову кверху, сидел виновник происшествия.

— Все понимает,— сказала Надя.

— Мы этого так не оставим,— повторила Тошка.

Удивительно, как один человек, просто подлец, и фамилия-то у него славная, может начисто испортить настроение нескольким людям. А эти люди не могут ничего сделать для восстановления самой обыкновенной справедливости. А эта девчоночка Надя, совсем букашка, по-моему, просто боится возвращаться домой и наверняка будет околачиваться во дворе до самого вечера, пока не вернутся с работы ее родители. Разве нельзя дать объявление в газете или по радио, что вот то-то и то-то делать просто подло. Каждый человек, просыпаясь утром, читал бы об этом.

— Пожалуйста, не расстраивайся,— сказала Тошка.— Я уверена, ты в тысячу раз храбрее его и в миллион раз благороднее.

— Не успокаивай меня,— сказал я.— Надо было уку-
сать его или подставить ему ножку. Знаешь, как я умею под-
ставлять ножку. Он бы вытянулся во всю длину и своей
противной мордой стукнулся об пол.

Сам не свой я был, говорил не думая. Думал совсем про другое. Почему-то вспомнил строчки из последнего письма отца, которое он мне прислал из госпиталя. Он там писал о матери: «Всегда помни о ней и старайся ее понять».

Я подумал, что не выполнил этой просьбы. Она-то меня

понимала, а я ее нет. Я все время думал только о себе, но не о матери и тем более не о Геннадии Павловиче. И я понял, что она была права, когда сказала мне: «Отец не хотел бы видеть тебя таким».

— Ты думаешь, Иван совсем пропащий человек? — спросила Тошка.

— Нет, — ответил я. — Так я не думаю.

А потом я подумал о неизвестной мне Верочке Поляковой, о Ленке, и о Наде, и почему-то о братьях Рябовых, и о всех тех людях, которые были незаслуженно обижены и никто к ним вовремя не пришел на помощь. Только разве никто? Разве мы не готовы им помочь?

Вот Эфэф говорил мне, что мы еще в бою, мы еще солдаты. И этот бой будет длинным, но он нас сделает чистыми и прекрасными. И Эфэф солдат, он не отступит никогда. И Тошка солдат, она ведь барабанщица, и я тоже буду солдатом.

Дед говорил, что я не судья матери. А кто же я ей, если не судья? Все люди судьи друг другу, и я судья своей матери, только я должен быть справедливым и великодушным. И она мне судья. И ему, деду, я тоже судья.

— Что теперь делать? — спросила Надя.

— Не волнуйся, — сказал я. — Ничего он тебе не сделает, этот Грибоедов. Его мы одолеем. Останется у тебя собака.

И пусть у каждого, кто захочет, будет собака.

■ пусть поскорее наступит такой день, когда мы будем счастливы и когда с полуслова будем понимать друг друга и по первому зову приходить на помощь. Вот это и будет счастливый день.

А пока мы стояли и думали обо всех наших бедах. Нет, мы не плакали, ведь мы были солдаты, и даже маленькая девочка Надя не плакала. Но и весело нам еще не было.

СОДЕРЖАНИЕ

Чудак из шестого «Б»	3
Путешественник с багажом	61
Каждый мечтает о собаке	144

Для восьмилетней школы

Железников Владимир Карпович

ЧУДАК ИЗ ШЕСТОГО «В»

П о в е с т и

Ответственный редактор *И. В. Пахомова.*
Художественный редактор *М. Д. Суховцева.*

Технический редактор *В. К. Егорова.*

Корректоры *З. С. Ульянова и Е. И. Щербакова.*

Сдано в набор 3/XII 1969 г. Подписано к печати 4/II 1970 г. Формат 60×84^{1/16}. 17 печ. л. 15,86 усл. печ. л. (12,92 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 экз. ТП 1970 № 279.

Цена 49 коп. на бум. № 2.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва. Центр, М. Черкасский пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 5102.

3
1
4

/II
л.
79.

сво
ете
ий

ет-
по
ев-

Цена 49 коп.

В. ЖЕАЭНКОВ

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕЗИДЕНТЫ
И ЧЛЕНОВЫ
КОМИТЕТА